

A black and white illustration of a young girl in a winter coat and hat standing next to a snowman in a snowy forest. The girl is looking at the snowman. The snowman has a simple, friendly face. The background shows bare trees and snow-covered ground.

Лауреаты
Международного
конкурса
имени Сергея
Михалкова

Светлана Волкова

Джентльмены и снеговики

Светлана Васильевна Волкова
Джентльмены и
снеговики (сборник)
Серия «Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31262144

*Джентльмены и снеговики: Издательство «Детская литература»; М.,
2017*

ISBN 978-5-08-005703-8

Аннотация

Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы, бабушек и дедушек и даже прабабушек и прадедушек. Прочтя девять рассказов, объединенных общей идеей, ты можешь представить себе, какими твои родные были в детстве. Так ли уж отличались они от тебя? Похожие увлечения, страхи, преодоления, вопросы...

А еще эта книга – об истории нашей страны, увиденной глазами ребенка.

Для среднего и старшего школьного возраста.

Содержание

О Конкурсе	6
Джентльмены и снеговики	9
Золотой цыпленок	11
Алешина комната	78
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Светлана Волкова

Джентльмены и снеговики

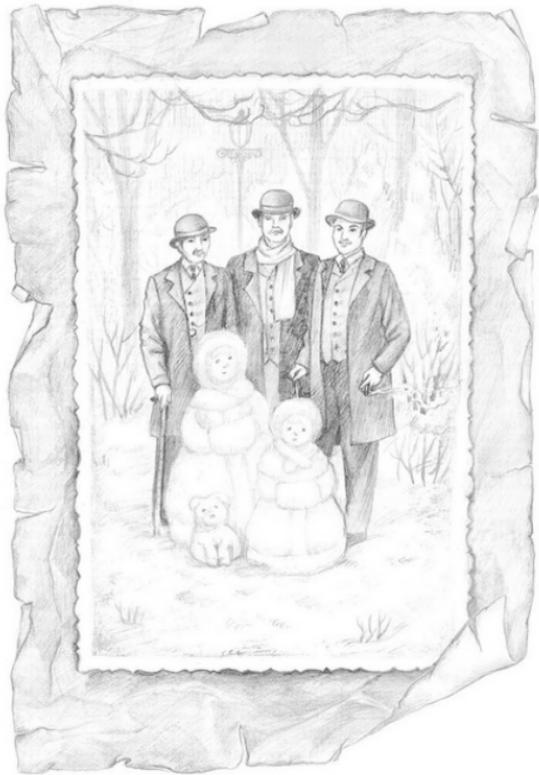
© Волкова С. В., 2017

© Рыбаков А., оформление серии, 2011

© Ватолина В. В., иллюстрации, 2017

© Макет. АО «Издательство «Детская литература», 2017

* * *



О Конкурсе

Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.

В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года, что происходит до настоящего времени. Второй Конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей: повестей, рассказов, стихотворных произведений. В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов. В 2016 году объявлены победители пятого Конкурса.

Отправить свою рукопись на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.

Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его «подростковом секторе». Их отличает актуальность и острота тем (отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка.

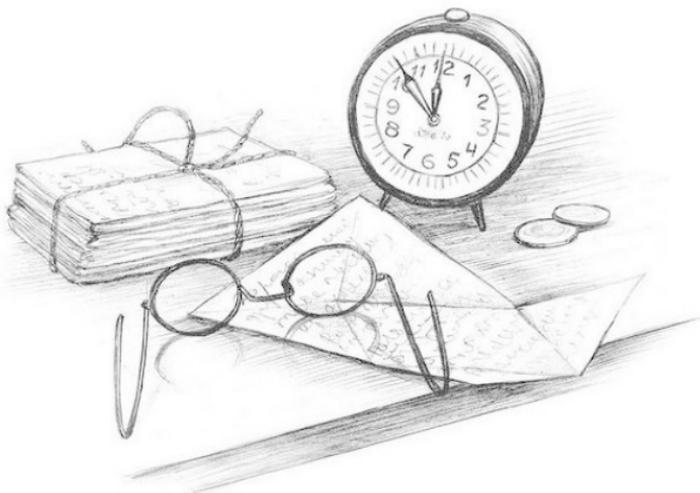
В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-листы конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.

Книги серии нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года 2014» в номинации «Лучшая книга для

детей и юношества» именно за эту серию.

Джентльмены и снеговики

*Посвящается моей маме
с любовью и благодарностью*



В этой книге собраны девять историй, объединенных одной, ушедшей от нас, но не забытой эпохой. Это эпоха советского детства, в которой мальчики хотели полететь в космос и поймать шпиона, а девочки мечтали о любви к героям-летчикам и о крепдешиновых платьях, как у актрис. Это истории, которые не оставят равнодушными тех, кто помнит собственное детство, на какие бы годы оно ни при-

илось, и радуется возможности увидеть в зеркале и себя, и своих восьми-девяти-десятилетних родителей.

Мальчишки и девчонки смотрят на нас из сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых и подмигивают нам. Они так похожи на нас.



Золотой дышленок



Первый раз Димка влюбился в четыре года. Ей исполнилось шесть, она была воздушна и сказочно прекрасна в небесно-голубом платьице, перешитом из газовой блузы своей длинноносой матери. От нее пахло грушами и жженым сахаром, и имя Гуля ей очень шло.

Когда тетя Маруся спросила, понравилась ли ему девочка, Димка задвигал носом, вспоминая ее праздничный съедобный запах, и ответил: «Очень». И в тот же день он поцеловал новую знакомую в щеку. Гуля ничуть не смутилась, а лишь погрозила ему пальчиком, точно взрослая.

Это первое осмысленное сердечное притяжение томилось

в Димке ровно неделю – с понедельника по воскресенье – и растворилось в воздухе, как выпаренное молоко, оставив невесомую запекшуюся пеночку где-то на доньшке сознания. Подружку увезли в Самарканд к бабушке. На прощание Гуля подарила ему зеленый карандаш – от него тоже пахло карамелью, и Димка постоянно грыз его, пока тот не раскололся пополам.

Запахи окружали Димку с рождения. Родился он в августе сорок первого, до срока, в поезде на пути в Ташкент, куда маму и тетю Марусю, ее младшую сестру, спешно эвакуировали из Ленинграда вместе с архивом Пулковской обсерватории. День гибели отца в боях под Лугой по фатальному стечению обстоятельств совпал со днем рождения сына. Мама же сойти с того поезда не смогла – ушла в горячке тихо, под убавляющийся стук колес и рваные песни одуревших от жары пассажиров, до самого последнего мига прижимая пылающие сухие губы к лобику новорожденного сына. Старенький фельдшер ничем помочь не смог, лишь тяжело вздохнул да тайком перекрестил восемнадцатилетнюю испуганную тетю Марусю, совершенно непредставлявшую, что делать с пищущим кульком и как вообще жить дальше.

Впоследствии тетя рассказывала Димке историю его рождения несколькими словами: «поезд», «жарко», «мало воды», «мало тряпок» – и каждый раз прятала от любимого племянника слезы – так глубоко сидели те августовские дни

в ее сердце. Димка же во время этих скудных рассказов неизменно слышал запахи: угольной пыли, мазута, кислого людского пота в вагонах и хлеба с луком. Много раз вместе с мальчишками он бегал к железнодорожному вокзалу, вбирал ноздрями деготный дух шпал и промасленного металла, вслушивался в журчащий говор вокзального люда, трогал рукой раскаленные от зноя блестящие рельсы и говорил сам себе: «Вот я родился».

В Ташкенте тетю Марусю определили в многодетную узбекскую семью. В их дворе поселились еще несколько эвакуированных ленинградских женщин с детишками, и к моменту, когда Димка начал говорить, оказалось, что он одинаково хорошо понимает и русский, и узбекский, и таджикский, и даже каракалпакский – от шумных многочисленных соседей, по очереди нянчивших его.

Тетя Маруся работала секретарем-стенографисткой в районной администрации, представлявшей собой кособокое желтое здание с толстыми, будто вспухшими от водянки ногами-колоннами и щербатыми, как стариковские зубы, ступенями. Димка оставался днем с бабушкой Нилуфар – большой, доброй, усатой женщиной, коричневой от вечного ташкентского загара. Она поила его кумысом и вместо соски давала пожевать вяленый урюк, предварительно выгрызая косточку тремя оставшимися зубами. Бессчетные ее внуки спали днем с Димкой в обнимку на вытертом узорчатом ковре, а ночью тетя Маруся брала племянника к себе, свято веря, что

именно русская колыбельная про серенького волчка поможет ему вырасти крепким и здоровым, да и просто выжить.



Бабушка Нилуфар звала Димку на татарский манер «Динар» и давала подзатыльники тяжелой рукой всем, кто, как ей казалось, был с сиротой неласков. Умиляясь Димкиным вьющимся золотым кудрям, она окликала его нежно «оппогым», что по-узбекски означает «мой беленький». А когда Димка прибегал к ней со двора и непременно по-русски, ко-

торого бабушка Нилуфар не понимала, начинал рассказы-вать, как, к примеру, видел подравшихся баранов, она качала головой в цветастом платке, протягивала ему пиалу с чаем и соглашалась со всеми его словами, приговаривая: «Ай! Алтын джужа!» – «Золотой цыпленок!»

С того самого дня, как Гуля в ответ на поцелуй погрозила четырехлетнему Димке пальчиком, ему открылся совершенно новый мир – мир девочек, до той поры незамечаемых. Будто этот самый пальчик, точно волшебная палочка, указал ему на нечто такое, от чего у Димки разом перекрыло дыхание. Оказалось, что все девочки вокруг красивые. Даже толстая угрюмая Зулхумар, непонятным образом откормленная родителями в голодное военное время на радость будущему «сговоренному» мужу, который бегал вместе со всеми во дворе в рваных штанах и еще писался по ночам, – даже она виделась Димке сказочной королевой.

Димка и считать научился по девочкам: в его дворе их восемь, в соседнем – пять, через двор – десять. Он обожал звать их по именам – громко, на всю округу, пугая домашних птиц и тощих котов. А имена-то – сплошная музыка! Люба, Валюша, Маша, Гузаль, Фарида, Бахмал... Вперемешку русые, рыжие и черные косички, легкие ситцевые сарафанчики в ромашку и сине-желтые в черный зигзаг национальные платяца-куйлаки, из-под которых торчали обшитые снизу блестящей тесьмой штанины шаровар. Матери также шили

детям одежду из всего, что попадалось под руку, – из намотрасников, наперников, мешков из-под муки. Но даже перешитая из наволочки юбочка виделась Димке самым дивным нарядом. То, что «они все дуры», в чем был искренне убежден его лучший друг Мансур, ничуть Димку не смущало. Ну дуры. Но ведь такие необыкновенные! И пахнут не так, как мальчишки, а чем-то девчоночьим – миндальной ореховой крошкой, сладкой курагой, изюмом, чуть забродившим дынным спелым духом, а по праздникам – бухарской халвой.

– Донжуанчик растет! – улыбался однорукий учитель Алишер, тайно вздыхавший по тете Марусе, но так за все годы ее с Димкой затянувшейся эвакуации и не решившийся за ней поухаживать.

После того как уехала Гуля, Димка поцеловал Валюшу. Она надула губки, будто собиралась заплакать, но не заплакала, а побежала к девочкам, и Димка подслушал, как она рассказывает подругам об этом происшествии. И в рассказе том были нотки хвастовства, поданные Валюшей в качестве справедливого гнева и возмущения «гадким мальчишкой». Но что-то Димке подсказало, что не так уж это ей неприятно.

Перецеловав по разу, а то и по два всех окрестных девчонок, до которых он мог дотянуться своим малым ростом, Димка понял одну нехитрую истину: они, эти вкусно пахнущие создания, совсем не сердятся на него, а даже очень рады

поцелуям. Девочки, все как одна, нарочито фыркали, кокетливо дергали худыми плечиками и бросали ему на выдохе: «Дурак!» Но «мелюзгой» на русском и узбекском дразнить перестали.

– Я тебе больше не нравлюсь? – спросила однажды чернобровая смешливая Фарида.

– Почему? Очень нравишься! – ответил Димка.

– Но ты меня только один раз поцеловал, а Гузаль два.

Димка вытянул губы и чмокнул ее в золотистую щеку.

Фарида вздохнула и, помолчав, сказала с упреком:

– А Гузаль ты в губы поцеловал!

Димка этого не помнил.

Получив выклянченный поцелуй в губы, счастливая Фарида умчалась к маленьким сестрам хвастаться, что у нее теперь есть жених.

– Что ж ты будешь делать, горе мое? – качала головой тетя Маруся. – Тебе придется на них всех жениться!

– Ну и женюсь! – гордо задрал нос, отвечал Димка. – Дядя Алишер рассказывал, что у его знакомого несколько жен!

– Да как мы их всех прокормим? – смеялась тетя Маруся. – Одна Зулхумар ест больше, чем мы с тобой вдвоем!

– Да уж! – подхватывал Алишер. – Здесь, брат, Восток. Посмотрел на девушку – женись! А уж поцеловал – считай, что свадьбу сыграл.

– Правда? – изумился Димка. – Я сейчас Аню люблю. Я

ее три раза поцеловал. Это значит, три раза женился?

Алишер захохотал:

– А на прошлой неделе ты мне рассказывал, что не можешь выбрать между Любой и Матиной. Эх, Маруся, увозить надо парня, пока и впрямь не «сговорили».

Тетя Маруся кивала, отшучивалась, сама же с какой-то тоской думала о возвращении.

Родственников в Ленинграде не осталось: те, что были, не пережили блокаду. Дворничиха баба Нина прислала ей письмо еще в конце сорок третьего, что дом их в Якобштадтском переулке цел, хоть от фугасной бомбы и сгорел флигель с прачечной, и что комната их стоит пустая, ждет возвращения. Тетя Маруся рыдала сутки над письмом, а соседи даже начали было собирать их с Димкой в дорогу, раздобыв плетеный короб и складывая в него все, чем были богаты, по широте души – от красно-бурого верблюжьего одеяла до мешка с изюмом. Но тетя Маруся все откладывала поездку, ссылаясь сначала на то, что Димка маленький, и неизвестно, как в Ленинграде с работой, и, мол, надо бы сначала дождаться полной нашей победы. Бабушка Нилуфар гладила ее по волосам и уговаривала остаться насовсем. Тетя Маруся вздыхала, мотала головой и выдавала не то стон, не то хрип, но тем не менее еще на пять с половиной лет после прихода того самого письма задержалась в гостеприимном Ташкенте.

Уже и бурно отпраздновали Победу, и всем двором встре-

тили вернувшихся с фронта соседей, а тетя Маруся все медлила и медлила с возвращением в Ленинград, словно больше всего на свете боялась войти в ту самую комнату, где родилась, выросла и была так счастлива.

– Учиться тебе надо, Маруся, – убеждал ее Алишер. – Не всю же жизнь на машинке клавиши отбивать. Ты вот геологом стать хотела.

Тетя Маруся вздыхала, понимая, что он прав и надо поступать в институт – и непременно в ленинградский Горный, где до самой смерти преподавали ее отец и мать, но все тянула и тянула с отъездом. Когда же Димке пришло время идти в школу, она списалась со своей старенькой учительницей, ставшей к тому времени директором, и получила ясный ответ: будет для Димки место в первом «Б» классе, собирайте чемоданы.

Но чемоданы тетя Маруся собирать не спешила, все отшучивалась: что, мол, с собой брать-то, разве что единственное платье да племянниковы портки – остальное не нажили. А перед самым отъездом Димка сломал руку – прыгал с мальчишками с крыши кособокой чайханы и неудачно упал. Тетя Маруся словно ждала этого сигнала, ухватилась за него, как за соломинку, продала билеты на поезд и все хлопотала над Димкой, точно соседская дворняга Брахмапутра над единственным выжившим щенком. Нет, нельзя малыша в таком состоянии никуда везти, ему нужен покой! И точка.



В первый класс Димка пошел в ближайшую к их дому русскую школу, стоявшую в узком проулке рядом с рынком. Читать он научился давно, сначала по вывескам на домах, потом по газетам, и к семи годам перечитал все русские книги, какие раздобыл у соседей во дворе. В этот список вошел «Справочник медицинской сестры», «Дон Кихот», «История Пунических войн. Том 3» и «Телефонная книга Ташкента за 1935 год». Правда, он бы не поклялся, что все понял, особенно в «Дон Кихоте», но это его ничуть не смущало.

В школе Димке было скучно. Оказалось, что он единственный в классе умеет бегло читать, одинаково хорошо по-русски и по-узбекски. Полгода мусолить азбуку с малышowymi картинками было для него сущей пыткой, и он тайком от учителя листал истрепанное, зачитанное до дыр толстовское «Детство Никиты», подарок дяди Алишера, и бегал на перемене в школьную библиотеку. «Взрослые» книжки суровая толстобокая библиотекарша Матлюба Фархатовна младшим школьникам на дом не выдавала (даже за халву), и Димка брал их в читальный зал. «Графиня де Монсоро» захватила его полностью, хотя местами и была скучна, и он искренне не понимал, почему Матлюба Фархатовна считает, что эту книгу ему читать еще рано. Там ведь нет того, о чем шептались мальчишки, а друг Мансур убеждал, что видел собственны-

ми глазами, когда его старший брат Турсун «зашел за ковры с кондукторшей Аленой». «Анна Каренина» далась не сразу, но Димка научился проглатывать абзацы, которые не понимал, и останавливаться на главном – на любви. А Пушкина он открыл для себя заново и удивился – читал ведь всего год назад, в шесть лет, а вот перечитывает сейчас и все понимает – и о любви, и о женщинах. Наверное, вырос. Каждый раз, открывая какое-нибудь стихотворение, Димка представлял, что это написал он, а вовсе не Пушкин, и видел себя подбирающим рифму – конечно, такую же, как у Александра Сергеевича. И еще ясно представлял себя стоящим на камне на берегу Салара и полусшепотом читающим пушкинские строки какой-нибудь девочке, и та непременно ахает: «Как талантливо!» А Димка небрежно бросает ей: «Сырые еще, перепишу».

Так, незаметно для себя самого, он начал писать стихи. Но показать их не осмелился никому, с завистью отмечая, что у Пушкина получается лучше.

Мальчики учились отдельно от девочек. Девчоночьи классы находились в соседнем здании, служившем в военное время складом. Окна были маленькими, узкими, в помещении стоял полумрак, и Димка, в первый школьный день прибежавший посмотреть на учениц, никак не мог их разглядеть. Только когда школьницы шумным выводком высыпали на переменке во двор, он обомлел от их количества и замер от

тихого восторга. Нарядные, в белых фартуках с крылышками, они чертили классики и прыгали, задевая пятками краешки платиц. Димка все смотрел и смотрел на девочек и никак не мог определить, какая же из них ему больше нравится. И снова пришел на следующий день, и опять не смог выбрать. Они все были красивы, легки, сладкоголосы, а мрачное здание младшей школы придавало им некий книжный ореол романтизма и монастырской тайны. Друг Мансур считал, что их просто зачем-то держат в здании, но ничему не учат, и правильно делают: скрести до блеска казан, ошпы-вать птицу и подметать двор они и так умеют.

К концу сентября Димка, как сам сформулировал, «решительно влюбился». «Решительно» – потому что решил и влюбился. Ведь время шло, и надо было делать нелегкий выбор.

Ее звали Роза, она была из большой татаро-узбекской семьи и отличалась от других девочек тем, что не гонялась по двору как угорелая, а скромно стояла в сторонке и непременно что-то жевала. У нее было персиковое лицо, бархатные ресницы, румянец крупным вишневым мазком убегал куда-то за ухо, а волосы вились черными блестящими колечками и напоминали Димке подгоревший на шампуре лук. И вся она, такая «съедобная», мягкая, так и просилась, чтобы он, Димка, в нее влюбился.

На этот раз он совершил все действия в обратном порядке: сначала поцеловал Розу (поднявшись на цыпочки, потому что она была выше на целую голову), потом объявил, что она

его «дама сердца», и уже затем представился. Девочка на поцелуй сначала не отреагировала – вероятно, потому, что не знала, как на это реагировать, потом проглотила то, что жевала, и потрогала его светлые волосы, торчащие из-под тюбетейки.

– Ай! Алтын джужа! – сказала она по-узбекски с интонацией бабушки Нилуфар. – Золотой цыпленок!

И Димка понял, что это означает безоговорочное «да».

Он подарил Розе кусочек золотистой тесьмы, какой женщины обшивают края шаровар, и показал ей, как надо взбираться на чинару, чтобы, сидя на толстой ветке, бесплатно смотреть кино. Роза покорно пыталась залезть на бедное сутулое дерево, но, как ни старалась, ничего у нее не вышло. Она скользила сандалиями по отполированному сотней мальчишеских пяток стволу, кряхтела и с глубоким страдальческим выдохом съезжала вниз, попой на самые корни. Точно так же тяжело вздыхало и дерево. Димка пробовал посадить ее, но не смог, а звать на помощь пацанов считал неправильным.

Недели через две он узнал, что ревнивая Фаридка оттащила соперницу за косы. А еще через месяц Розу «сговорили», и она торжественно сообщила Димке, что теперь не сможет бегать с ним на берег Салара и таскать с базара непроданную алычу, потому что где-то в Юнусабадском районе живет мальчик с необыкновенным именем Алмаз Закиров, ко-

того она никогда не видела, но уже точно любит. Потому что мужей, даже будущих, надо обязательно любить.

Димка погоревал, но вскоре утешился Соней, продержавшейся в фаворитках до самых зимних каникул. И до конца первого класса было еще несколько девочек. Мансур предложил ему завести специальную тетрадку и записывать туда их имена, чтобы не забыть, но Димка вспомнил строки стихотворения Навои, где говорилось о сладком яде забвения, и заявил приятелю, что ничего записывать не будет, потому что больше всего на свете любит сладкое.

А в июле, когда перезревшее ташкентское солнце нагрело камни на мостовых до такой температуры, что плюнешь – зашипит, как масло на сковороде, тете Марусе приснился сон. Снилось ей, что она снова маленькая, бежит по ленинградской квартире босиком, ноги мерзнут от холодного пола, и папа с мамой, живые и молодые, всё зовут ее отмывать грязные пятки и ложиться в кроватку с белым хрустящим, принесенным с мороза бельем.

Подействовал тот сон на тетю Марусю, как пусковая кнопка, включившая сирену или какой другой титанический механизм. Два дня она носилась по улицам, легкая, как комочек хлопка, гонимый ветром, и все никак не могла найти успокоения. А на третьи сутки решительно заявила: «Всё! Возвращаемся в Ленинград!» И никакие уговоры друзей и увещевания бабушки Нилуфар действия не возымели. Сроч-

но уволившись с работы и отправив телеграмму дворничихе бабе Нине, она купила два билета в плацкарт и, отрыдавшись на плечах всех ташкентских соседей, ставших родными, покидала свои и Димкины вещи в плетеный ивовый короб.

Провожали тетю Марусю с Димкой всем двором. Алишер привез от газалкэнтских родственников барана, женщины сотворили божественный плов, а из купленного на базаре виноградного сахара приготовили нават, напекли фигурное печенье куш-тили и жжеными сахарными катышками угощали детишек, слетевшихся в их двор со всех окрестностей вместе с мухами.

Прощание началось с самого утра и закончилось к вечеру, за час до отхода московского поезда. Плакали, как водится. Даже дворняжка Брахмапутра очень к месту подвывала, не забывая таскать со скатерти все, что плохо лежит. Бабушка Нилуфар привязала к ручке короба баул с завернутым в вощеную бумагу бешбармаком, уложила сдобные пирожки и курагу, сунула Димке в руки кулек с желтыми сливами. И все приговаривала: «Ай! Алтын джужа! Золотой цыпленок!»

До вокзала пошли целой демонстрацией. Димкины «невесты» и «просто знакомые девочки», количество которых в торжественном эскорте постоянно менялось, тянулись шлейфом до самого перрона. Он хотел было перецеловать их всех (чтоб запомнили), но проводница, похожая на взлохмаченную ворону, гаркнула на тетю Марусю, чтобы все занимали

места согласно купленным билетам, а родственники и прочие не нагнетали обстановку. И от поцелуев Димка воздержался. Пацанов тоже было много, но он обнял только Мансура и клятвенно пообещал приехать погостить на следующие каникулы, прибавив шепотом, что если тетя Маруся не даст денег на билет, то он сам прибудет в Ташкент под вагонным брюхом – а что, ему не страшно, он же родился на железной дороге.

Бабушка Нилуфар долго мяла Димку в беспокойных руках, словно лепила из теста чучвару, поправляла на нем тюбетейку и, не выдержав и пустив из одного глаза слезу, напоследок проговорила: «Ок йул!» – «Белой дороги!» Поезд тронулся, оставив позади гостеприимный солнечный Ташкент и такие же солнечные, яркие, слепящие, как фонтанные брызги, детские воспоминания.

* * *

Дорога, и правда, оказалась «белой». До Москвы поезд шел три дня, два из которых – через степь, белёсо-седую, выжженную, с ломкой гривой ковыля, мелькавшего за окном, пучками кустов бобовника и спиреи да редкими корявыми саксаулами. Хлопковые поля тянулись бесконечными полосатыми матрацами, бело-коричневыми, с мелкими пестрыми кляксами женщин, собиравших урожай. Димка вспомнил, как почти год назад, в сентябре, их класс отправляли

на грузовичках на сбор хлопка – всех школьников до единого, даже первоклашек, – как собирал он ватные фонарики в большую наволочку, привязанную к спине, и как болели потом пальцы и трудно было держать на уроках перо.

Тетя Маруся грустила, всю дорогу смотрела в окно, вспоминая, как восемь лет назад ехала в Ташкент с любимой сестрой, и изредка позволяла Димке поить себя чаем. Он наливал кипяток из стоящего у тамбура залатанного титана в большую железную кружку и, глядя тетю Марусю по голове, читал ей что-нибудь из Пушкина. Тетя Маруся всхлипывала, прижималась губами к белым кудрям племянника и в который раз повторяла: «На родину едем, в Ленинград».

Дорогу от Москвы до Ленинграда Димка почти не запомнил: перед самым отправлением тетя Маруся купила на Ленинградском вокзале «Занимательную энциклопедию», и Димка нырнул в нее с головой. Он с восторгом читал и старался запомнить все подряд: как образуется исток реки, как горит хвост кометы и как муравьи доят тлю. А рано утром, с трудом соображая, где он и что с ним происходит, Димка выглянул в окно и увидел серую пелену тумана, а в нем, как в кумысе, плавали люди с баулами и чемоданами, и взволнованный голос тети Маруси произнес:

– Мы приехали.

Московский вокзал дыхнул в лицо теплой сыростью и гостеприимно распахнул громоздкие чугунные ворота на шум-

ную и суетную площадь Восстания. Город поразил Димку количеством людей, одетых в шерстяные пиджаки – по узбекской зиме, и множеством пятиэтажных домов, каких в Ташкенте не было, и еще тем, что на улицах ездили в основном автомобили и ни разу не встретился ишак. Обычная ленинградская августовская погода показалась ему чересчур холодной, а вот дождь невероятно понравился: в Ташкенте бы так – много луж, целые реки на мостовой, и так сладостно-утробно журчит поток, кружась воронкой и убегая в щербатую решетку люка!

Тетя Маруся долго стояла напротив своего старого дома в Якобштадтском переулке, вглядываясь в темные глазницы окон их комнаты на четвертом этаже, и все не решалась перейти улицу и толкнуть дверь парадной. Наконец высокая тощая старуха в длинном фартуке окликнула ее из подворотни, и тетя Маруся, ахнув и прошептав Димке, что это и есть та самая дворничиха баба Нина, бросилась той на грудь.

Из соседей по коммуналке, помнивших их семью, выжила только Ольга Романовна. Два ее сына погибли на фронте, а дочь жила с мужем в Москве. В четырех других комнатах обосновались три новые семьи, подселенные на освободившуюся жилплощадь уже после войны. Комнату тети Маруси отстояла у ЖЭКа баба Нина, написав заявление «куда надо», что, мол, точно знает: сын геройски погибшего танкиста Федорова и его родственница Мария Ивлева вот-вот вернутся

из эвакуации.

В комнате, несмотря на то что замок на двери был сломан, почти все вещи сохранились целыми. Паркет остался лишь под шкафом и тяжелым черным диваном, в центре его не было: соседи разобрали в блокаду и стопили в буржуйке. Еще не хватало ореховой этажерки, но книги и перевязанные голубой ленточкой письма, которые на ней были, аккуратной стопочкой виновато лежали на подоконнике.



Тетя Маруся выдала Димке тряпку, и они в четыре руки принялись за уборку. Пыли, скопившейся за долгие годы их

отсутствия, было много. Тетя Маруся сосредоточенно молчала, и Димка не решался приставать с вопросами – чувствовал, что ее полностью захватили воспоминания. Она поочередно брала в руки то отцовы очки в потрескавшемся кожаном очечнике, то вышитую мелким бисером плоскую театральную сумочку матери, то фотографию в толстой раме, где они со старшей сестрой, Димкиной матерью, сидят, приклонив друг к другу головы, и смотрят куда-то вдаль, такие счастливые, юные и круглолицые. И лишь когда Димка заметил, что тетя Маруся остервенело пытается оттереть тень от латунной ручки на белой филенчатой двери, подошел и осторожно тронул тетю за плечо:

– Ты поплачь, тетя Марусечка.

Тетя Маруся обняла Димку и, уткнувшись лбом в его рубашку, беззвучно проревелась.

Ленинград показался Димке городом с другой планеты. Невероятным, невысказанно красивым, большим, немного печальным. Все было иначе, чем в Ташкенте. Неяркие краски домов и лиц, сизое в рваный голубой просвет небо и лужи, аккуратные, как бухарские лепешки, напоминали о том, что в этом городе надо заниматься совсем другими вещами, чем в Ташкенте, – например, писать грустные стихи, вздыхать и умирать от неразделенной любви к кому-нибудь. Как Пушкин. Собак было очень мало, и лаяли они интеллигентно, не брехали впустую, а словно что-то говорили, но не настоя-

чиво, а так, «к слову». Двери квартир запирались на ключ, что было совсем странно. Люди не останавливались посередине улицы поговорить, а, даже если знали друг друга, кивали, слегка наклоняя головы, и спешили дальше. Только мальчишки в узбекских тубетейках были такие же, как в Ташкенте, и в первый же день дворового знакомства показали Димке окрестности со всеми подворотнями и лазами и научили жевать вар, который кровельщики разводили в чумазах железных бочках, похожих на гигантские осиные гнезда.

Но самое главное отличие было, конечно, в запахах. Родной ташкентский дворик говорил ароматами кухни: кунжутным маслом, прогретым до черного дыма, растопленным курдючным жиром, угольной сажей, вывешенными на просушку ватными матрацами-курпачами, мокрой шерстью, кислым молоком. И еще иногда терпким клеем, которым бабушка Нилуфар промазывала бумажные ленты для кассового аппарата – «от проклятых мух» – и выкладывала во дворе, отчего тот становился похожим на маленькое полосатое хлопковое поле.

Ленинградский двор покорила Димку сладковатым запахом подмоченных дождем дров, которые все соседи хранили под хлипким брезентовым навесом, помечая их номерами квартир. Невероятно пьянил аромат опилок, вылетающих брызгами из-под двуручных пил, густой запах сапожной ваксы, витавший рядом с будкой чистильщика обуви, которого все называли почему-то «айсор». И еще дух горящего метал-

ла, исходящий от ножей и ножниц, сопровождаемый басовитым протяжным криком-песней точильщика: «Ножи точу, бритвы пра-а-а-авлю!»

На второй день по приезде Димка случайно вышел к Фонтанке, а оттуда к Никольскому собору, ярко-голубому, праздничному, словно отороченному белым пенным кружевом, и стоял долго-долго, обомлев от красоты, не решаясь подойти ближе. И только когда какая-то сердобольная женщина спросила его: «Ты что плачешь, мальчик? Случилось что?», вдруг опомнился и побежал со всех ног к дому.

Тетя Маруся в оставшуюся до начала учебного года неделю сводила Димку в Эрмитаж и Артиллерийский музей. Царские покои, безусловно, произвели на него впечатление, но все же меньшее, чем Александровская колонна, которая стоит себе на Дворцовой площади и почему-то не падает, хотя ленинградский ветер с Невы может свалить что угодно.

С трудом достав билеты в Кировский театр, они вдвоем сходили на «Аиду» в исполнении гастролирующей киевской труппы. «Аида» Димке совсем не понравилась, зато огромная театральная люстра просто околдовала его. Он замороженно смотрел на нее, медленно гаснущую, и с нетерпением ждал антракта, когда она снова оживет. И представлял, как вырастет и непременно придет сюда работать – нет, не артистом, не дирижером, а протиральщиком люстры, как будет стоять на высоких лесах и нежно перебирать в пальцах ее

хрустальные нити и гладить граненые шарики, так похожие на сахарные леденцы. И аплодировал он вместе со всеми, и вдохновенно кричал: «Браво!» – но только ей, ей, люстре! А когда на выходе из театра тетя Маруся произнесла: «Это было божественно!» – Димка совершенно сознательно с ней согласился. Да. Это действительно было божественно!

* * *

Первого сентября было ветрено, но довольно тепло. Тетя Маруся отвела Димку на школьный двор, где ровным квадратом выстраивались ученики в отутюженных гимнастерках и начищенные пряжки их ремней, поймав редкий ленинградский солнечный луч, блестя и слепили глаза. Остаться до конца торжественной линейки она не смогла: у нее тоже был первый день на новой работе в машинописном бюро. Поцеловав племянника и проверив, не забыла ли она положить ему бутерброды в портфель, тетя Маруся побежала на трамвайную остановку.

Димка смотрел на стриженные затылки впереди себя и думал о том, что за полторы недели пребывания в Ленинграде так и не познакомился ни с одной девочкой. В его дворе обитали две близняшки, с одинаковыми птичьими лицами и испуганными круглыми глазами, но они выходили гулять только с сурового вида дедом в военном кителе, и приближаться к ним не было особого желания. Еще постоянно вер-

телось под ногами несколько дошколят, но девичий народец, не знавший еще школьной парты, Димку совсем не впечатлял.

– А девчоночьи классы где? – шепотом спросил он парнишку, стоящего рядом.

– Они в двести восемьдесят третьей все, – ответил мальчик.

– А это далеко?

– В конце улицы.

Димка взглянул на директрису, стоящую под большим портретом Сталина и призывающую достойными отметками встретить новый учебный год.

– Я сейчас, быстро... – шепнул он все тому же мальчугану.

– Мне-то что? – равнодушно пожал плечами мальчик.

Димка протиснулся к воротам и, выйдя на улицу, со всех ног припустил по мостовой. Добежав до сквера в конце улицы, он приник к прутьям ограды и начал разглядывать девочек, построенных так же, как и в его школьном дворе, буквой «П» в два ряда. Речь директрисы была похожа на ту, что он только что слышал в своей школе. Через минуту зазвонил колокольчик, и ученицы под бодрый марш медленно потекли в распахнутые двери, семеня и постоянно натыкаясь на спины друг друга.

Больше всех Димке понравилась рыженькая. Ее косички, завязанные баранками у маленьких розовых ушей, отливали на солнце медью, а круглое мраморное личико, усыпан-

ное веснушками, было трогательным и нежным. Одно только огорчило Димку: на шее девочки висел пионерский галстук. Это, к величайшему Димкиному сожалению, было неоспоримым доказательством того, что она его, второклассника, в упор не разглядит. Такие уж они, девчонки, – младших пацанов за кавалеров не считают. Да и за людей иногда тоже.

Димка с горечью подумал, что между ним и рыженькой как минимум два года разницы. Она, наверное, в четвертом, а то и в пятом классе, и эта пропасть в возрасте показалась ему вопиюще гигантской, неправильной, не оставляющей ни единого шанса на успех. Так что можно было не тратить время впустую. Димка еще раз взглянул рыжей вслед, увидел ее худенькую спину, перетянутую лямками белого фартука, и облегченно вздохнул: со спины она даже и некрасива.

Лица других девочек мелькали так быстро, что выхватить в их веренице симпатичную мордашку оказалось не так-то просто. Одна из первоклашек издали показала ему язык, и Димка сначала возмутился, но тут же сообразил, что, возможно, она так выказывает ему знак внимания, и скорчил в ответ обезьянью рожицу. Девочка хмыкнула, передернула плечами и, гордо подняв голову, удалилась. Димка понял, что вот так, наспех, подружку выбрать сложно. Самое правильное было бы вернуться в свою школу, а после уроков уже подойти к делу серьезнее. Как – Димка пока не придумал, знал лишь, что выбор – дело вдумчивое.

Когда он вернулся к школе, оказалось, что всех уже развели по классам.

– Что ж ты опаздываешь, милочек?.. – вздохнула сердобольная гардеробщица и указала ему путь на третий этаж, где находился его 2-й «Б».

Димка поблагодарил и помчался наверх, перепрыгивая через две ступени.

Дверь в класс была немного приоткрыта. Учителя не было. Мальчишки гудели, плевались из трубочек, хлопали друг друга по головам учебниками. Димка с досадой подумал, что совсем никого из них не знает и надо войти и выдержать как минимум пулю в лоб из жеваного катыша промокашки и автоматную очередь ядовитых колкостей. Ну и пусть! Он-то им ответит – не лыком шит! Но, как назло, все удачные русские остроумные выражения выветрились из его головы, оставив лишь неприличные узбекские словечки. А ими, чувяло его сердце, отвечать бесполезно: не поймут и обсмеют еще больше.

– Новенький? – прошелестел над ухом ласковый женский голос.

Димка обернулся. Молодая учительница смотрела на него огромными темными глазами. Под мышкой у нее был рулон с картой.

– Боишься зайти в класс? – так же ласково спросила она. Дыхание у Димки остановилось. Он молча кивнул.

– Я тоже.

Она заправила прядь черных волос за ухо и подмигнула Димке.

– Что – вы тоже? – ошарашенно переспросил он.

– Я тоже новенькая. И тоже боюсь зайти в класс.

Учительница улыбнулась ему и заглянула в щелку.

Она показалась Димке ангелом, каких рисовали узбекские расписчики тарелок, – смуглая кожа, высокие скулы, большие чернослиловые глаза – чуть раскосые, вытянутые, уходящие уголками к самым вискам. Короткая стрижка каре, какие носили женщины в ташкентской администрации, казалось, была создана специально для нее – открывала уши, похожие на маленькие фаянсовые пиалы, с круглыми красными сережками на золотистых мочках, и шею – тонкую, чуть покрытую нежным пухом у самой кромки волос. И руки – с тонкими загорелыми запястьями и пальцами, длинными, как у пианисток... И вся она, в светлой блузе и узкой темно-серой юбке, схваченной на тонкой талии пояском, напомнила ему иллюстрации к «Бахчисарайскому фонтану».

– Как тебя зовут? – шепнула она Димке.

Димка, плохо соображая, все любовался и любовался ее лицом.

– Алтын джужа, – с трудом выговорил он, боясь моргнуть. Потому что если моргнешь – она может исчезнуть. Уже бывало так.

– Как ты сказал?

Она повернулась к нему, и Димка уловил запах духов, ка-

ких-то необыкновенных, напомнивших ему лавку фруктов и пряностей дядюшки Фаруха на углу их ташкентской улицы. Димка почувял аромат апельсинов, вспомнил, как они оранжевой горкой лежали на деревянном лотке; и бергамота – тонких веточек с длинными темно-зелеными листьями, связанных ниткой; и разложенных на льняной салфетке рифленых коричневых зерен кардамона. И еще что-то вкусное, неуловимое. Так, вероятно, пахла нарисованная Зарема из «Бахчисарайского фонтана».

– Извините, – запнувшись, сказал он. – Это по-узбекски. Золотой цыпленок...

– Золотой цыпленок? А на самом деле? – Ее глаза лукаво смеялись.

– Дима Федоров.

– А меня зовут Ольга Саяновна. Ну пошли, Дима Федоров. Вместе не так страшно, правда?

Димка хотел было ответить, что ему совсем не страшно, подумаешь – новые одноклассники, но никакие слова не приходили в голову.

Ольга Саяновна толкнула дверь. Гул сразу стих.

– Вас ни на минуту нельзя оставить!

...Димка плохо помнил, как его представили классу, как он сел с кем-то белобрысым и ушастым, пахнущим дымом от пистонов, и как ребята рассказывали о проведенных каникулах. Он все смотрел и смотрел на Ольгу Саяновну и не мог никак оторваться. Она была так не похожа на ленинградских

взрослых женщин. Ее восточные скулы и глаза, цветом похожие на вар, который научили его жевать здешние мальчишки, и золотистая от загара кожа, и деготно-смоляные волосы – все напомнило ему родной Ташкент.

Ребята по одному выходили к доске, что-то говорили. Когда очередь дошла до Димки, он подошел на ватных ногах к карте, ткнул негнушимся пальцем в республику Узбекистан, не очень заботясь, попал ли палец в Ташкент, и тихим осипшим голосом поведал об их дворике, о хлопке, о базаре Чорсу, о бабушке Нилуфар, Мансуре, дворняге Брахмапутре и друзьях по первому классу. Он говорил без остановки, словно чувствуя потребность помочь ей заполнить урок. «Я тоже боюсь», – вспомнились ее слова в коридоре. И он, Димка, просто обязан был защитить ее, сделать так, чтоб ей не было страшно, заслонить от злодея, от целого татаро-монгольского ига, а лучше – от дракона. Вот бы он залетел сейчас в окно, и все бы испугались, а Димка взял бы указку в руки и, как д'Артаньян шпагой, заколол бы врага! И бросил его огнедышащую тушку к ее ногам...

Ольга Саяновна кивала, задавала ему какие-то вопросы про Ташкент, Димка отвечал, краем глаза выхватывая из-под учительского стола ее ступню в туфельке с квадратной пряжкой и коленку, обтянутую чулком карамельного цвета.

Потом еще что-то происходило. Был второй урок, третий...

– Дима, почему ты не идешь домой? Или играть в футбол

с ребятами? – Голос Ольги Саяновны заставил Димку встрепенуться.

Где-то на улице раздался звон выбитого стекла, мальчишеский крик и следом заливистый милицейский свисток.

– Я иду... – ответил Димка, подхватил портфель и направился к выходу, плохо соображая, что сейчас с ним происходит.

У двери он остановился и вдруг осмелел:

– Ольга Саяновна?

– Да.

– Ольга Саяновна... – Он произносил ее имя, как любимое стихотворение Пушкина, на полувдохе, наслаждаясь его звучанием и желая вновь испытать удовольствие от его повторения. – Ольга Саяновна... А можно вас спросить?

– Конечно.

– Ольга Саяновна... А вы замужем?

И выдохнул, зажмурив глаза и боясь услышать ответ.

– Да, я замужем. А почему ты спрашиваешь, Золотой цыпленок?

Она произнесла «Золотой цыпленок» так тепло, что у Димки несомненно перехватило бы дыхание, если бы не холодное, змеиное, жужжащее слово «замужем», сказанное на полсекунды раньше. Он почувствовал, как оцепенели пальцы, и сжал ручку портфеля так крепко, что костяшки побелели.

– Я так просто...

Он зачем-то кивнул и выбежал из класса.

На Фонтанке Димка долго вглядывался в темную муть воды, навалившись животом на гранитную ограду у Измайловского моста, и ни разу не вспомнил, как хотел после уроков бежать к женской школе смотреть на девочек. Что-то произошло с ним сегодня, что-то невероятное, а что – он и сам бы себе ответить не смог, лишь смотрел на водную рябь и суетящихся уток, сверху напомнивших ему лузгу от семечек, и пытался унять отчаянно колотящееся сердце, отдающее горячими ударами в виски.

* * *

Ольге Саяновне Золхоевой накануне первого сентября исполнилось двадцать шесть. Она была ровесницей тети Маруси, разве что на неделю младше той. Закончив педагогический институт в Иркутске и отработав учителем по распределению четыре года в забытом богом селе Манзурка на речушке с таким же почти танцевальным названием, она, к своему безудержному счастью, перебралась в Ленинград. Муж отбывал службу с инженерным десантом на строительстве какого-то завода в дружественном Китае, писал ей длинные письма, из которых она не могла понять, здоров ли он и скоро ли приедет, и изредка слал с оказией посылки, в которых бумажные веера и атласные нижние сорочки соседствовали

с кусачими носками из собачьей шерсти и грубой выделки кожаными сумками на задубелых негнущихся ремнях.

Жила Ольга Саяновна в комнате покойной родственницы, через улицу от школы, в красивом доме с башенкой и цепочкой сквозных дворов-колодцев, словно пищевод петлявших во внутренностях двух-трех одинаковых пятиэтажек, спаянных между собой позвончиками внешних стеклянных лифтов. Одежды у нее было мало, но она умудрялась перешивать присланные мужем нижние сорочки в элегантные блузы с бантом и носила их всегда неизменно с одной серой юбкой, ушитой точно по фигуре.

Приехав в Ленинград, она первым делом остригла длинную косу, отдавшись на волю и фантазию соседки по квартире парикмахерши Зоси, – этим хотелось ей «узаконить» новый этап в жизни. Стрижка каре невероятно преобразила ее, сделала грубоватые черты тоньше, пикантнее, а глаза, которые она считала единственным своим неоспоримым женским достоинством, ярче и выразительней.

В новой мужской школе старый костяк учителей встретил ее настороженно, но Ольга Саяновна и не рассчитывала на другой прием: кто она, деревенская учительница со штампом забайкальской национальности на лице, по сравнению со столичными (ну или почти столичными) педагогами? Для «боевого крещения» класс ей выделили хулиганистый. Так, по крайней мере, считали коллеги, но Ольга Саяновна сумела найти к ученикам подход. Он, этот подход, заключался в

том, что она, рискуя своим учительским авторитетом, позволяла мальчикам не отвечать невыученный урок, но лишь с условием, что перед началом занятий они у нее «отпросятся». То есть подойдут и честно предупредят, что не готовы. За эту честность Ольга Саяновна не вызывала к доске, но на следующий день «отпрошенные» обязаны были ответить ей задолженный материал, и судила она уже по всей строгости.

Мальчики в классе были шумные, но любознательные, и Ольга Саяновна с удовольствием эту любознательность в них поддерживала, принося в класс книги о путешествиях и отрывая по пять минут от какого-нибудь урока на рассказ о великих первопроходцах и открывателях новых земель. Ребята слушали внимательно, глаза их горели. А неделю назад выяснилось, что один мальчик – Дима Федоров – все эти книги читал. Она сначала не поверила, но он с легкостью пересказал биографии Крузенштерна и Лисянского, в точности указав на карте маршруты их путешествий. В восемь лет читать книги для взрослых она считала неправильным, ведь должно же быть у ребенка детство. Но говорить об этом с учеником или его тетей не стала: привычка к чтению, что ни говори, не относится к разряду вредных. Узнав, что он круглый сирота, да еще приехавший в Ленинград из Узбекистана, Ольга Саяновна решила побольше говорить с ним. Немного тепла ребенку не помешает, а разговаривать с Димой и правда было занятно. Он выделялся среди других мальчишек своими взрослыми суждениями, недетской взвешенностью размыш-

лений о жизни и неистовой любовью к поэзии – той поэзии, которую любила она сама и которая так же, как и, наверное, ему, помогала забыть, что она потеряла в войну отца и мать, и так же, как этот южный мальчик, приехала в чужой, незнакомый, вечно дождливый город.

Так понемногу беседовали они, и ее искренне радовало то, как он умеет слушать затаив дыхание, как шевелятся его длинные реснички и прыгают искорки в глазах. И Ольга Саяновна неизменно думала о том, что так мог бы сидеть напротив и слушать ее сынишка, которого ей еще не привелось родить, но ведь не поздно еще, не поздно! Скорей бы вернулся муж! И Ольга Саяновна, поговорив с Димой, шла в учительскую, доставала перо и лист бумаги и писала мужу неизменно одно и то же: приезжай, мол, хотя бы на денек, очень соскучилась. Потом брела домой, улыбаясь сама себе, проигрывая в голове сцену встречи мужа и часы близости с ним. А вспоминая прошедший день, радовалась, что подарила немного тепла смышленому золотоволосому ташкентскому мальчугану, трогательному и впечатлительному – такому, каким непременно будет ее родной сынок.

* * *

Димка стоял за косяком дома напротив школы и наблюдал за Ольгой Саяновной. Так он делал каждый день. Кипела осень, роняя под ноги резные желто-алые листья, и голубое,

с рваным облачным хлопком небо в который раз говорило о том, что надо однажды решиться и подойти к ней.

Ольга Саяновна улыбалась каким-то своим мыслям, и Димка фантазировал, что она вспоминает их сегодняшней разговор о море Лаптевых и об Арктике, и тоже начинал улыбаться, смущенно пряча нос в воротник суконного пальтишка.

И он решился.

– Ольга Саяновна, я провожу вас до дома, можно? Вы так интересно рассказываете. – Димка догнал ее и, не смея поднять на нее глаза, пошел рядом, чуть впереди.

Ольга Саяновна вздрогнула, вернулась из своих мыслей на землю.

– Конечно, Дима. Если хочешь...

Заговорили о Пушкине. Димка не стал пугать ее знанием наизусть стихотворений о любви, лишь прочитал кусочек из «Руслана и Людмилы».

Она подхватила, принялась рассказывать, как они в иркутской школе, классе в седьмом, ставили спектакль и как ей очень хотелось сыграть Людмилу, но учительница дала ей роль колдуньи Наины.

Димка наблюдал за ней, чуть повернув голову. Как же просто было бы, если б она была девочкой, его ровесницей! Он бы подошел и поцеловал. И даже объяснять ничего не стал. А как тут подойдешь к ней, к учительнице? От одной этой мысли у него побежали мурашки по всему телу. Ольга Сая-

новна – такая нежная, ласковая, лучшая изо всех на свете! Вот если бы она была ученицей, пусть даже набитой душой! Самое большее, что грозило бы ему после сорванного поцелуя, – удар портфелем по голове и презрительное: «Дурак!» Да он бы и стерпел. Но как, как, как подойти ко взрослой женщине? В глубине души Димка понимал, что разрушит все, построенное между ними, – и разговоры, и Пушкина, и это сказочное: «Ты хочешь что-то спросить, Золотой цыпленок?»

Нет, он решительно умрет на месте, если когда-нибудь поцелует ее!

Димка начал по-особому присматриваться к тете Марусе. Стараясь, чтобы та не обнаружила его интерес, он наблюдал, как она собирается утром на работу, бегая в одной сорочке по комнате и спешно вытаскивая тряпочки-папильотки из волос; как, приоткрыв рот, красит губы рыжей помадой, а потом промокает их кусочком газеты; как оглядывает себя в зеркале, проводя пальцами под высокой грудью. Точно так же, думалось ему, проходит утро Ольги Саяновны. Она, наверное, тоже спешит и так же прикасается ладонями к телу, поправляя шелковую блузу.

И вдруг нестерпимо захотелось взглянуть! Забраться на подоконник и подглядеть. Но Димка, конечно, понимал, что быть пойманным за подглядыванием еще страшнее, чем познать позор от поцелуя.

...Он с виртуозностью агента из шпионского фильма раздобыл об Ольге Саяновне все сведения, какие только мог, – от двух старушек-сплетниц, живущих с ней в одном дворе, от гардеробщицы бабы Фроси, любящей поболтать, от лопухого первоклассника Петюни, внука ее квартирной соседки. И еще понемногу – из подслушанных возле учительской разговоров. Хотелось знать о ней все, и каждый раз, узнавая что-то новое, сердце его подпрыгивало одновременно от радости и ревности. От радости – потому что она как будто становилась ближе, а от ревности – потому что та же баба Фрося или Петюня стали ближе к ней чуть-чуть раньше.

– Ты что-то, золотой мой, совсем с девочками не дружишь, – заметила как-то тетя Маруся. – В Ташкенте у тебя толпа невест была, а тут никого. Или подменили мне тебя в ленинградском поезде?

– Они все кикиморы, тетя Марусечка.

– Ну уж прям-таки и все?

– Поголовно.

Димка старался не говорить с тетей об Ольге Саяновне. Само произношение имени было невероятно тяжело, как будто он сейчас выдаст себя голосом. Да и само имя у нее – хрупкое, как та самая хрустальная люстра в Кировском театре, что кажется – разобьется со звоном где-то посередине между именем и отчеством. Димка тарасился на соседку по квартире Ольгу Романовну и никак не мог понять, как человек с таким старым и некрасивым лицом, исполосованным

вдоль и поперек морщинками, точно скомканная промокашка, может носить имя Ольга. Решительно никак! Отчество же Ольги Саяновны, такое непривычное для слуха, вновь и вновь заставляло его открывать школьный географический атлас и подолгу разглядывать горы Саяны, желтой змейкой притаившиеся на юге Сибири.

Однажды Димке посчастливилось украсть ее фотографию. Это была поистине удача, о которой он и не мечтал. Директор школы обязал всех учителей принести карточки, и Ольга Саяновна вместе с другими пошла в фотоателье на Измайловском проспекте. Димка забежал туда на следующий день и увидел, как пожилой сутулый фотограф в запятнанном кургузом халатике раскладывает на столе сделанные фотографии – по четыре штуки каждого снимка. Брать чужое Димка был не приучен, но много раз видел в Ташкенте, как пацанята крали фрукты и семечки с лотков торговцев на базаре. Тактика была проста: подскочить, схватить и дать деру. Не побежит же дядька за тобой, бросив товар на радость другим воришкам! Зайдя в ателье, Димка сосредоточенно разглядывал выставленные за стеклом карточки, даже не ожидая такой удачи, – вот она, фотография Ольги Саяновны, в строгом жакете с широкими плечами, с брошью у воротника блузы. Даже дыхание перехватило. Фотограф что-то уронил под стол, с крѣхом нагнулся, а когда выпрямился – маленького посетителя уже и след простыл.

Димка бежал со всех ног, прижимая фотографию к груди,

и отдышался только на лестнице своего дома, когда со ржавым вздохом захлопнулась за ним тяжелая входная дверь.

Снимок Ольги Саяновны он поместил в томик Пушкина, как раз там, где было стихотворение «Я вас люблю, хоть я бешусь...», которое он обожал. Книгу же прятал за кровать – чтобы не нашла тетя Маруся, и ночью иногда доставал, гладил, разглядывал в свете уличного фонаря, стыдливо подсматривающего за ним в окно, и был нескончаемо счастлив.

* * *

Тетя Маруся удивилась, обнаружив у Димки в дневнике единицу по русскому языку. Удивилась настолько, что даже не сразу сообразила рассердиться. Русский язык – его любимый предмет, и мысль о том, что племянник может чего-то не знать или не подготовиться, даже не приходила ей в голову. Димка же заверил ее, что «кол» этот не от незнания, а из-за поведения (вертелся на уроке, подсказывал другим) и, мол, к концу четверти он все исправит. Тетя Маруся, вспоминая слова, которыми родители ее саму журили за тройки, отругала Димку с воспитательными целями, но особо не расстроилась: конечно же он исправит плохую оценку.

А история с единицей была замечательной. Димка знал наперед материал уроков чуть ли не до конца учебника и активно тянул руку в классе. Ведь так приятно выходить к доске, стоять рядом с Ольгой Саяновной, отвечать бойко, полу-

чать от нее похвалу, слушать, как она называет его по имени. Но он заметил, что она почти перестала его спрашивать. Димка сразу наполучал пятерок, которых хватило бы уже до окончания четверти, и, как ни рвался к доске, слышал: «Я верю, Дима, что ты знаешь урок. Давай послушаем других». Он обиделся и намеренно написал диктант на тройку с минусом. Потом еще намеренно ответил неправильно.

Ольга Саяновна оставила его после уроков.

– Дима, что с тобой? Ты же знаешь предмет! Мне кажется, ты нарочно ответил неправильно, – сказала она, строго посмотрев на него.

И Димка застыл под взглядом ее черных сказочных глаз.

– Чес слово, не знаю. Забыл, – соврал он.

И целых сорок минут, пока она объясняла якобы не выученные им правила, они сидели рядышком, голова к голове, и Димка плавился от счастья.

Таких дополнительных занятий случилось три. А на следующий день Ольга Саяновна вызвала Димку к доске и спросила то, что накануне объясняла ему. Он намеренно молчал, глядя в пол. Класс ехидно посмеивался. Она задавала наводящие вопросы, тянула за уши к очевидному ответу, но Димка не проронил ни звука. Ей пришлось поставить ему единицу.

Он предвкушал сладкий момент повторений неуспевающего урока, опять с ней вдвоем, без посторонних глаз! А если пофантазировать – она возьмет и пригласит его к себе домой,

ведь так бывает, ученики же навещают учителей. Но Ольга Саяновна, к глубочайшему его горю, не оставила Димку после занятий и домой не пригласила, а попросила отличника Кольку Комарова позаниматься с ним. Комаров дал честное пионерское к Седьмому ноября сделать из Димки человека и с идейным упорством принялся надоедать ему упражнениями по грамматике. Теми самыми упражнениями, которые Димка переделал в первую же неделю учебного года.

Терпел «буксир» Димка недолго, вызвался вскоре отвечать и исправил злополучный «кол», на который у него были большие сердечные надежды.

* * *

Бабушка Нилуфар любила говорить: «Ты храбрый, Алтын джужа, ты, главное, когда испугаешься, вспомни: ты храбрый. И тогда большой страх станет маленьким, как чечевичный боб».

Боязнь сделать шаг и признаться в своей любви, огромной, как космос, сидела в Димке глубоко и поедала его изнутри. Любовь приносила страдания, но он понимал, что без этого нельзя – так у Пушкина, у Лермонтова, у Навои.

Близились зимние каникулы, школа подпоясалась плакатом через весь фасад:

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ 1950 ГОД!

Димка не желал каникул. Целых две недели без ежедневного счастья видеть ее, слышать ее и, если повезет, иногда украдкой касаться ее руки – незаметно, когда все ученики сдают тетради. А еще на перемене, когда одноклассники носятся по коридору и можно сделать так, как будто кто-то ненароком толкнул, – и тогда, падая, дотронуться до ее спины.

Но Новый год – время подарков, и как же хотелось ему что-нибудь подарить Ольге Саяновне!

У тети Маруси была овальная брошка из гагата. Камень – черный, как ташкентская ночь, напоминал Димке глаза Ольги Саяновны – такие же темные, жгучие, чуть раскосые и всегда немного грустные. Тетя Маруся брошь не любила, по приезду в Ленинград не надевала ни разу, и Димка решил принести вещицу в школу.

– Что это, Дима? – спросила Ольга Саяновна, вертя в руках брошку.

– Подарок, – ответил он, заливаясь рубиновой краской. – На Новый год.

Ольга Саяновна нахмурилась.

– Откуда она у тебя?

– Просто... Была...

Она вздохнула и пододвинула брошку к нему.

– Спасибо, Золотой цыпленок. Но я не приму. Ты ведь у тети взял? Из шкатулки?

Димка сразу вспомнил тети-Марусину коробочку из-под

пудры с жирными буквами «ТЭЖЭ», где она хранила всякие мелкие штучки, и тоже вздохнул, громко и трагично.

– Давай сделаем так, – улыбнулась Ольга Саяновна. – Ты отнесешь обратно брошку, положишь ее на место и больше никогда – слышишь? – никогда не будешь брать чужое. А я мысленно буду представлять, что ношу твой подарок вот здесь, – она коснулась рукой собственной брошки с чуть желтоватой камеей на ярко-голубом фоне.

Димка снова кивнул и, зажав брошь в кулак, поплелся домой.

Ольга Саяновна жалела Димку, все еще списывая его невероятную романтичность на глубокое одиночество, и от одиночества же – неестественную для ребенка привязанность ко взрослым книгам и стремление больше общаться с ней, учительницей, а не со сверстниками. После родительского собрания она даже осторожно поговорила с тетей Марусей, рассказала ей, что немного тревожится за него. Но та лишь отмахнулась: в Ташкенте, мол, племянник пропадал до ночи с пацанятами, а тут дома сидит, уроки делает или книжки читает. А уделять ему время ей совсем некогда: днем работа, вечером подготовительные курсы для поступления в институт. Одет же, обут, обстиран, хорошо учится – чего тревожиться-то?

Возразить было нечего, и Ольга Саяновна лишь попросила давать ему читать что-нибудь детское, соответствующее

возрасту. Тетя Маруся лишь пожалала плечами. Димка уже года четыре как имел свое мнение по поводу книг, прочитал, может, даже больше, чем она сама за всю жизнь, и навязать ему что-нибудь помимо воли было пустой тратой времени.

* * *

Прошли каникулы – зимние, потом весенние. Димкина любовь превратилась в какую-то невероятную по степени боли тоску. Однажды, провожая Ольгу Саяновну от школы до дома, он сказал:

– А хотите, я прочитаю вам стихотворение?

– Очень хочу.

Он прочел то, что написал для нее. Рифмой он был доволен, но собственный стих казался ему самому наивным, косяком. Привычка же в творчестве сравнивать себя с Пушкиным всегда была для Димки поводом для грусти: у того получалось намного лучше.

– Какие интересные стихи. Чьи они?

Димка подумал, что сейчас она догадается, что это сочинил он, и будет смеяться. Про себя смеяться, конечно, внешне не покажет, но обязательно подумает: «Плохо».

– Вам правда нравится?

– Правда.

Димка плотно сжал губы, чтобы предательская улыбка его не выдала.

– Ну, это поэт один... Малоизвестный. В старой газете нашел.

Они молча шли к ее дому, и Димка с восторгом вслушивался в весенний гвалт птиц и щурился на яркое солнце, пестрое на лужах, такое долгожданное. Жизнь казалась прекрасной.



...Ольга Саяновна сначала подумала, что, возможно, это его, Димкины, стихи. Отметила хороший слог, необычные образы. Очень талантливо... Хотя слишком талантливо для восьмилетнего мальчика, и такая искренняя чувственность,

как будто автор всю жизнь любил одну женщину. Только взрослый человек с опытом мог бы так написать. Конечно, она ошиблась. Стихи из старой газеты... Наверняка еще фронтовой – тогда часто печатали любовную лирику, чтобы как-то приободрить народ.

– Это хорошее стихотворение, Дима. Когда ты вырастешь, ты конечно же поймешь, что чувствовал автор, когда писал его. А может быть, тоже станешь поэтом. Как Пушкин.

– Как Пушкин, не стану, – ответил Димка, не зная, радоваться ли тому, что она не догадалась, или огорчаться.

Дома он достал из томика Пушкина фотографию Ольги Саяновны и долго смотрел на нее, пытаясь разглядеть в глубине черных глаз ответ на волнующий его вопрос: «Да, Дима, я догадалась, что это твои стихи. Но должна была притвориться, что поверила про старую газету. Ты же понимаешь».

– Я понимаю, – шептал карточке Димка, – я все понимаю.

И казалось ему, что он слышит запах Ольги Саяновны, исходящий от фотографии, – запах духов «Красная Москва» и еще чего-то необъяснимо прекрасного.

* * *

Она вылетела из дома, на ходу застегивая легкий плащ, и пошла спорым шагом в сторону Обводного канала. Было воскресенье, и витрины закрытых магазинов подслеповато

таращились ей вслед большими нематыми стеклами, а озорное апрельское солнце кидало под ноги крупу ярких бликов.

Димка, по обыкновению сидевший воробушкой на крыше низенькой сапожной будки и наблюдавший за ее окном, вспорхнул и кинулся за ней.

– Ольга Саяновна, можно я пойду с вами?

Она обернулась, и он увидел, как пылало румянцем ее лицо, а глаза светились. Даже казалось, что цвет их поменялся, стал медово-сливовым.

– Нельзя, Дима. Это далеко.

– Мне все равно.

– Я иду на Митрофаньевский рынок.

Ее каблучки цокали по мостовой, отдавались гулким отзвуком в ушах.

Она прибавила шаг. Димка догнал ее и, намеренно ступая широко, пошел рядом.

– Я тоже на Митрофаньевский.

Она резко остановилась.

– Иди домой.

И, словно не в силах сдерживать больше радостную новость, заулыбалась и произнесла:

– Платье новое иду покупать. Муж приезжает, телеграмму дал.

Димку словно кто-то хлестнул прутом по лицу.

– Муж?

– Да! Мне срочно нужно платье!

Она говорила как будто сквозь перьевую подушку – так слышал ее слова Димка. Муж! Конечно, у нее же есть муж! И он приезжает в отпуск, а может, и насовсем. И она хочет быть для него красивой. Для него, для него!

– Но вы и так... – Он хотел было сказать «красивы без нового платья», но вовремя осекся.

Ольга Саяновна словно не слышала. Все гнала и гнала его прочь, но Димка упорно вышагивал рядом. Наконец она сда-лась.

– Тебя не хватятся дома?

Он молча покачал головой, стараясь не отставать от нее.

Они дошли до Балтийского вокзала, свернули на Митрофаньевскую дорогу, тянувшуюся далеко сквозь пустыри и убогие низенькие складские здания. На самом краю старообрядческого Громовского кладбища, за ветхими, подгнившими досками забора открылся иной мир, совсем непохожий на ташкентский базар: шныряли люди с папиросами в зубах, женщины в телогрейках трясли товаром, пахло жареными пирожками и чем-то кислым. Пиджаки и пальто торговли вешали прямо на могильные кресты, продев рукава в тонкие, закругленные на концах рей. Шляпы из фетра и восьмиклинки лежали на бортиках раковин. Кепки-лондонки – мохнатые, серо-бежевые, в крупный и мелкий «прыщик» букле, похожие на замерзших зверьков, – согревались боками на упавших оградках. Рядом, на ящиках, красовалась всякая

всячина: часы, скрипки в потертых футлярах, рабочие инструменты, хромовые сапоги, желтобокие самовары, чашки – новые и со сколом, трофейные швейные машинки. Рынок гудел, каркающие выкрики торговков перекрывали сильную песню безногого мужичка с тальянкой, толкавшего после каждого спетого куплета тележечку на колесах под ноги суетливой толпе.

Димка поежился. Его пнули – он едва не упал, ухватился за крест и тут же в ужасе шарахнулся от него.

– Дима, не отходи от меня ни на шаг! И смотри по сторонам: ворьё кругом.

Ольга Саяновна взяла его за руку, и Димкина ладонь тут же вспыхнула жарким огнем.

Они долго бродили меж рядов. Ольга Саяновна приценивалась, охала, что дорого. Он же не видел и не слышал ничего, лишь крепче сжимал ее пальцы и был готов вечно жить на Громовском кладбище, лишь бы не отпускать любимую ладонь.

Наконец она остановилась возле синего платья с белым вязаным воротничком. Интеллигентная женщина в маленькой бархатной шляпке тихим голосом назвала цену, пояснила, что отдает почти даром, потому что срочно нужны деньги. Ольга Саяновна погладила материал рукой, приложила платье к худеньким бедрам, замерла от восторга.

– Вам в самый раз будет. – Женщина заметно оживилась.

– Боюсь, в груди маловато, – с сожалением сказала Ольга

Саяновна, все поглаживая платье, не желая возвращать хозяйке.

– Да вы примерьте...

Женщина кивнула на стоящие рядом три дерева, перетянутые бельевыми веревками. На веревках, точно белье после стирки, висел длинный, подбитый куцым беличьим мехом салоп, рядом – плечистое мужское пальто и мятая льняная скатерть.

– Ой, да как же... – начала было Ольга Саяновна.

Но женщина махнула рукой:

– Не бойтесь, милая, никто не увидит. С примеркой-то надежней будет.

Ольга Саяновна поколебалась немножко, но потом кивнула и сунула Димке сумочку.

– Держи, пожалуйста, крепко, – шепнула она и нырнула под полу свисавшего с веревки салоп.

Димка обеими руками ухватился за лаковую кожу сумочки и встал на страже – как раз там, где была щель в этой нехитрой примерочной. Мимо шныряли странные небритые парни, выискивающие в толпе покупателей побогаче и что-то полусшепотом им предлагавшие. Мальчишки чуть постарше Димки, в натянутых по самые уши картузах, толкались как будто нарочно, переходя от одного продавца к другому, но, разумеется, ничего не покупали.

– Платье хорошее, совсем неношенное, креп-жоржет, – зачем-то начала объяснять Димке женщина. – Да и без при-

мерки глаз у меня наметан – в пору матери твоей будет. Или не родственники вы? Она черненькая, а у тебя волос золотой.

– Не родственники, – буркнул Димка.

Тут подошел покупатель, и женщина переключилась на него. Димка стоял полубоком к салопу и краем глаза заметил, как колыхнулась скатерть – сначала вверху, потом ниже, – видимо, от локтя Ольги Саяновны. Он подумал, что, наверное, в этот момент она снимает блузу, и застыдился своим неловким мыслям. И тут же стал прогонять их прочь, смущаясь и краснея.

Мимо ковылял, прихрамывая, солдат в шинели, остановился рядом с деревом, замер, ощерился, глядя в прорезь между пальто и скатертью. Димка, схватил рукав пальто, натянул, как мог, стараясь закрыть прореху, и так злобно посмотрел на непрошеного наблюдателя, что тот ухмыльнулся, сплюнул и пошел дальше. Возмущению Димки не было предела: как можно, там же она! Она! Не одета! А этот тип нагло смотрит! На нее! На нее!

Сердце нервно kloкотало в груди, он чувствовал – не ее – себя оскорбленным этим грубым солдатом. И все казалось – грязь вокруг, а там, за скатертью – чистота. Там, за скатертью...

Он отпустил рукав, и голова сама повернулась, глаза устремились в эту самую щель.

Ольга Саяновна надевала через голову платье. Ее лицо было закрыто струящейся синей материей, тонкие пальцы

колдовали над петельками и пуговицами. Мысленно Димка приказал голове отвернуться, а глазам закрыться, но они его не послушались. Он замер, не в силах пошевелиться, и за это уже почти себя презирал.

Лямка ее нижней сорочки скользнула с плеча, открывая груди – маленькие, острые, торчащие в разные стороны, как у мегрельской козы, – именно это сравнение первым пришло Димке в голову. Он вспомнил запрещенные рисунки, которые показывал ему Мансур, и обнаженные статуи в Летнем саду, и женщин, выходящих в мокрых длинных рубахах из Салара, и подсмотренную однажды на кухне сцену, как тетя Маруся мыла себя мочалкой, окуная ее в таз... И совершенно по-иному глядел он сейчас на Ольгу Саяновну и корил себя за это, стгорая от великого стыда, разрывая зубом тонкую кожу на губе, ощущая во рту солоноватый привкус. Но головы не отворачивал.

Она выскользнула из-за скатерти веселая, разругавшись, счастливая. Повертелась, держа края подола в руках.

– Ну как? – Ее голос был звонкий, точно весенний воздух.

– Говорила же, как на вас сшито! – встрепенулась женщина.

– Что скажешь, Дима? – повернулась к нему Ольга Саяновна.

Димка не смел поднять на нее глаза. Смущение и чувство вины, как будто он только что совершил страшное преступ-

ление, было настолько сильным, что он даже не сразу сообразил, что она говорит с ним.

– Снимать не хочу. Так и пойду! – захохотала Ольга Саяновна, накидывая поверх платья свой старенький плащ. – Муж приезжает сегодня!

Женщина взяла деньги, завернула ее юбку и блузу в толстую бумагу, перевязала бечевкой и вручила сверток Димке.

– Ну а раз муж... Клавдия! – крикнула она куда-то за пирамиду пустых ящиков, и словно из-под земли рядом выросла крепенькая красноносая тетка в клетчатом платке, жующая ржаную горбушку. – У тебя, Клавдия, туфли синие еще не купили?

Тетка присела, нырнула куда-то под ящики и вынырнула, держа в руках пару лакированных туфельек.

Ольга Саяновна обмерла.

– Какая цена?

– Да вы примерьте!

Туфельки пришлись впору. Ольга Саяновна покрутилась на каблучках, прошлась взад-вперед, и ноги ее сами затанцевали.

– Беру!

Она достала кошелек и начала пересчитывать деньги, мрачней с каждой секундой.

– Нет, не могу. Вся зарплата.

– Да бросьте! А на что у нас муж? Такой товар больше нигде не сыщете.

– Нет, нет! – Ольга Саяновна сняла одну туфельку, с сожалением протянула ее тетке. – Да и не хватит мне денег-то.

Димка почувствовал укол в висок. Какая невыразимая несправедливость, что он стоит рядом и не может купить ей эти туфли! А настоящий мужчина бы смог. Так говорили в Ташкенте, так воспитывали мальчиков в его дворе. Но изо всех денег у него – гнутый полтинник в кармане штанов, а на него даже мороженое не купить.

– Ладно, – подала голос тетка. – Давай, сколько там у тебя. Хорошая я сегодня.

Ольга Саяновна, не веря счастью, снова открыла кошелек, вынула всё – и мятые бумажные деньги, и мелочь – и с благодарностью высыпала тетке, подставившей руки лодочкой.

Они вышли за ограду. Глаза Ольги Саяновны сияли, она пританцовывала, размахивая старенькими туфлями и хлопая их подошвами друг о дружку. Сумочка болталась на руке, словно маятник, в такт только что придуманному танцу. Димка плелся сзади, прижимая к животу сверток с одеждой, и представлял, что она танцует для него, только для него одного, а больше в целом мире никого нет. Потому что если подумать, что кто-то есть, то это будет очень и очень плохо. И сами собой в голову полезли стихи – записать бы, да ни пера, ни чернил!

У Обводного канала Ольга Саяновна вдруг захромала и присела прямо на набережной, на осколок большой камен-

ной плиты. Охнула, сняла туфельку, принялась растирать ступню.

– Вот беда, натерла!

Мимо сновали люди с чемоданами и тряпичными тюками, торопились с Балтийского вокзала на Варшавский, а навстречу им – такие же сгорбленные в обратном направлении – с Варшавского на Балтийский. Точно муравьи, бегущие по сахарной дорожке, которая, бывало, сыпалась по ташкентскому дворику из саржевого мешка бабушки Нилуфар...

Ольга Саяновна оглядела пятку ярко-малинового цвета, просвечивающую сквозь дырку в чулке, и вмиг погрузилась, закусила губу, и казалось – вот сейчас она заплачет, непременно заплачет. И такая она была трогательная в синем платье с белым воротничком, такая беззащитная и невероятно красивая, что у Димки точно иголки вонзились в руки, и тело, и глаза. И немислимо, невозможно было вот так стоять рядом и смотреть на нее, он бы поклялся: не-воз-мож-но! И грохот сердца унять было тоже не под силу!

– Почему ты на меня так смотришь, Золотой цыпленок? – тихо спросила Ольга Саяновна.

Димка сжал сверток с ее одеждой обеими руками – так, что порвалась бумага, наклонился не моргая и поцеловал ее в краешек губ.

Ольга Саяновна замерла, глядя ему в глаза.

Он тут же отшатнулся, не веря своей нелепой смелости – от одного осознания, что он все-таки дерзнул сделать это. И

до смерти испугался прочесть в глубине ее зрачков... что? Удивление? Усмешку? Хоть что-нибудь прочесть уже было для него казнью.

Димка рванул в сторону, чуть не сбив с ног бабуку с корзинкой, побежал что есть мочи через Варшавский мост, а дальше – наугад. И сердце ухало, как в родном ташкентском дворике, когда выбивали пыль из ковра, и не было сладости от этого сорванного поцелуя, как бывало с девчонками, а лишь один страх позора от того, что дал свою любовь обнаружить.

* * *

Когда совсем стемнело, Димка наконец спустился с чердака своего дома, где отсиживался несколько часов, стараясь унять чехарду мыслей, бесновавшихся в голове. Тетя Маруся колдовала на кухне.

– Что так поздно? Девятый час!

Димка молчал.

– Мой руки и к столу. Я билеты достала в Музкомедию. Пойдем в среду. Там люстра не хуже, чем в Кировском! – Она засмеялась и подмигнула ему.

Димка стоял в дверях, не реагируя на тети-Марусино веселое щебетание. В груди ныло от событий сегодняшнего дня, и на губах ощущался горький привкус. Что теперь будет? Надо как-то объяснить Ольге Саяновне, что он не хотел ее оби-

деть, что все вышло случайно. Но как, как заговорить с ней о поцелуе? Подойти перед уроками и извиниться? А вдруг она, наоборот, огорчится, что он просит прощения? Ведь тогда выходит, что он сожалеет об этом и что будто бы для него это так, шутка, пустячок. А на самом деле – да жизнь целая!

– А что это у тебя в руках? – тетя Маруся кивнула на сверток.

Димка посмотрел на висящую лохмотьями измятую бумагу и видневшийся в дырке кусочек серой юбки.

– Это... учительницы. Я забыл отдать.

– Положи у вешалки в прихожей, чтобы утром взять. Или ей это сегодня надо?

Он встрепенулся, словно ему подали долгожданную подсказку.

– Сегодня! Сегодня! Ей обязательно сегодня надо!

Димка выбежал из квартиры. Тетя Маруся что-то кричала ему вслед, но он не слушал. Конечно! Он вернет Ольге Саяновне сверток – идеальный предлог, чтобы вновь увидеть ее, извиниться за свой поступок. Она улыбнется, произнесет «Золотой цыпленок» – и снова можно будет жить и дышать.

До ее двора было тысяча шестьсот пятьдесят два шага. Если бегом – с подскоком – то тысяча двести тридцать. Димка знал этот маршрут наизусть. На каждую сотню шагов было свое стихотворение Пушкина. Сейчас же он пролетел это расстояние шагов за тысячу, точно Маленький Мук в своих

волшебных туфлях. И не до Пушкина было, совсем не до Пушкина.

Прежде всего Димка конечно же скажет, что просит прощения за дерзость. Посмотрит, как она отреагирует. Можно позаимствовать у Дюма... «Мадам...» Впрочем, лучше без «мадам». «...Вы сами были тому виной. Вы так прекрасны, что сдержаться было невмочь».

Нет. Не годится! Чушь! Середина двадцатого века, а он с галантными глупостями! Ну его, этого Дюма!

Или осмелиться так: «Ольга Саяновна, я вас...»

Да просто: «Я вас люблю».

Сердце отстукивало: люб-лю, люб-лю, тук-тук, тук-тук.

Димка набрал полную грудь воздуха и позвонил в дверь. Открыла соседка – неопрятная старуха с чайником в руке. Димку она знала.

– К учительке? Проходи, не стой в дверях: сквозняк!

И удалилась в свою комнату, шаркая и что-то бормоча себе под нос. Димка остался один в темной прихожей. Он постоял, пока глаза не привыкли к темноте, и пошел на ощупь по коридору, натываясь на какие-то тазы и табуретки, к последней перед кухней заветной двери.

Дверь же была чуть приоткрыта – самую малость. Полоска электрического света тонкой желтой линией пересекала коридорный пол и преломлялась под прямым углом у стенового плинтуса, ползла по обоям вверх, к винтовому шнуру, и умирала у бахромы потрескавшейся потолочной штукатур-

ки.

Димка подошел ближе. Почему так происходит с ним: сам не желая того, он оказывается подсматривающим? Сегодня на рынке, да и раньше... Как будто не живет он по-настоящему, а существует вот в таком же темном коридоре, а жизнь и прекрасная любимая женщина – там, в щелке, в теплом луче света.

Димка осторожно заглянул в комнату. Окно было приоткрыто, и ветер надувал парусом кисейную занавеску, перебирал листья фикуса, спящего на подоконнике. Посередине комнаты стоял высоченный мужчина в одних кальсонах и обнимал Ольгу Саяновну, тыкаясь огромным носом ей в шею. Она была без одежды и зябко жалась к нему. Рядом на полу валялось смятое платье – то самое, синее с белым вязанным воротничком. Мужчина вдруг поднял Ольгу Саяновну на руки, закружил по комнате, а она захохотала, запрокинув голову. Он начал неистово целовать ее шею, и плечи, и острые груди, а она все смеялась, гладила его волосы и вдруг сказала ему – *ему!*

– Дождалась тебя, мой золотой!

Золотой! Нет, не может быть! Ведь это Димка – золотой! Ее Золотой цыпленок! Как может быть «золотым» для нее этот огромный носатый мужик?

Димка вдруг вспомнил, как однажды в Ташкенте, когда ему было три года, он утонул в Саларе. По-настоящему утонул, и если бы не дядя Алишер, то и вспоминать бы он уже

ничего не мог. Так же, как и тогда, сейчас он ясно ощутил, как струя холодной воды заползла змеей в горло, забила нос и уши, залила глаза. Как тогда, как тогда! Он тонет?

Димка отшатнулся, припал спиной к стоящему возле стенки велосипеда, ткнулся лицом в сверток с одеждой, дал крику уйти в мягкую ткань серой юбки. Предательски звякнул велосипедный звонок.

Дверь приоткрылась. Ольга Саяновна, запахивая халатик, выглянула в коридор, нажала на кнопку выключателя. Мягкий желтый свет залил пространство вокруг, превратил длинный узкий коридор во что-то круглое, обтекаемое.

– Дима? Что ты здесь делаешь?

Димка поднял на нее глаза, полные слёз. Как она могла? Как она могла так, ТАК предать его?!

– Дима? – настороженно переспросила Ольга Саяновна, подходя к нему.

Димка не смог произнести ни слова, лишь сунул ей в руки сверток с одеждой и выскочил вон из квартиры.

Ольга Саяновна провела рукой по лбу, прикрыв глаза, и покачала головой. В двери показалась голова мужа.

– Кто это был?

– Мой ученик. Господи, надо догнать его!

Она бросилась в комнату, принялась наскоро одеваться.

– Да объясни ты мне, зачем? – недоумевал муж.

– Не сердись, золотой мой! Надо непременно догнать его.

Как бы беды не случилось! Это особый мальчик.

Как и предполагала Ольга Саяновна, в Якобштадтском переулке Димки не оказалось. Встревоженная тетя Маруся все выпытывала у нее, что же могло произойти такого, почему Димка не прибежал домой.

– Он видел нас с мужем, – краснея, призналась Ольга Саяновна.

Стоявший рядом муж кивнул. Тетя Маруся ядовито зыркнула на него и схватила жакет.

Втроем они обежали все соседние кварталы, обошли квартиры Димкиных друзей, даже заглянули на голубятню. Димки нигде не было. К полуночи пришли в милицию, но усталый пожилой участковый наказал с заявлением приходить утром: слишком мало времени прошло, вернется, мол, пацаненок еще сто раз, а вы, родители, не паникуйте.

Тетя Маруся, гневно пообещав, что напишет самому товарищу Ворошилову о халатности местной милиции, вышла из участка и вдруг сказала вслух, обращаясь то ли к Ольге Саяновне, то ли к полной белощекой луне на небе:

– На вокзал надо. В ташкентском поезде он. Сердцем чую.

* * *

Димку сняли с поезда на станции Бологое. Половину пути он просидел скрючившись под полкой, за дерюжным мешком и ногами пассажиров. Сон смаривал нещадно, спина за-

текла. Димка вылез из-под лавки, когда разговоры в вагоне стихли и послышался храп, распрямил спину, прошел в запыленный тамбур и долго стоял у окна, вглядываясь в жиденький рассвет и серые мазки на оконце. Мысли были лишь об одном: там, там его дом, в Ташкенте. Там никто больше не предаст его. Там бабушка Нилуфар напоит его кумысом, а дядя Алишер расскажет о войне и партизанах. Там не будет ее, Ольги Саяновны, такой любимой еще несколько часов назад, а теперь уплывающей куда-то вдаль под мерный стук колес. Поезд качался на рельсах. Димка прислонился лбом к вагонной двери, проваливался в вязкое забытие. Все правильно: он и родился в поезде – может быть, в этом самом, и поезд – его друг, который все понимает и только один может утешить.



Мимо проплыла платформа и остановилась. В открывшиеся двери зашли люди с чемоданами, оттеснили Димку к стенке. И вдруг двое мужчин в милицейской форме одновременно наклонились к нему:

– Ты, часом, не Дима Федоров?

Что было потом, он плохо помнил: очень хотелось спать. Они долго тряслись в кузове машины, и Димка постоянно стучался головой о что-то жесткое. Потом контора, еще машина и наконец мыльно-бирюзовая башенка Московского вокзала, тот самый перрон, который он покинул половину суток назад. Тетя Маруся стояла бледная, комкала в руках

косынку.

– Прости меня, тетя Марусечка, – сказал Димка и заплакал.

Она подскочила к нему, обняла, заревела.

Подошли Ольга Саяновна с мужем. Димка с удивлением отметил, что может смотреть на нее просто так, без боли в сердце. Стоит рядом женщина в плаще... Просто женщина в плаще.

– Горячий какой! – ахнула тетя Маруся, трогая его лоб.

А как добрались до дома, Димка не помнил совсем...

* * *

Он провалялся с высокой температурой две недели. Тетя Маруся никого к нему не пускала, лишь когда он совсем поправился, разрешила школьным друзьям навестить его. Ребята шумно делились новостями, главная из которых была о том, что у них теперь новая учительница – старенькая, строгая, в круглых очках и с кичкой на темени. Ольга Саяновна Золхоева уехала вместе с мужем в дружественный Китай. В школе ее отпускать не хотели, просили доучить детей до конца четверти, но она никого не послушала – уехала и, говорят, даже трудовую книжку не забрала. И оценки за четверть не успела поставить.

Еще через неделю на имя тети Маруси пришла бандероль.

Без обратного адреса и подписи. Лишь сбоку ровным почерком было написано:

Мария Ивановна, пожалуйста, передайте Диме.

Димка осторожно развязал бечеву, развернул бумажную обертку. Перед ним была книга – удивительная, каких он еще не видел: красная, с золотым тиснением, немислимыми по красоте картинками и даже серебристой ленточкой-закладкой. И запах у нее был необыкновенный – не клея и бумаги, а чего-то сладкого, праздничного. Как будто запах «Красной Москвы». На титульном листе яркими выпуклыми буквами было напечатано:

А. С. ПУШКИН. СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ.

* * *

Осенью Ольга Саяновна приехала на пару дней в Ленинград, зашла в школу забрать трудовую книжку, минут пятнадцать на большой перемене болтала с бывшими коллегами в учительской.

Димка не удивился, что увидел ее. Он не прятался, не избегал Ольгу Саяновну, просто вежливо поздоровался, забрал мел, который его просили принести в класс, и вернулся на место. Сердце больше не стучало так сильно. Лишь все-таки почему-то надолго впечатался в память ее большой жи-

вот и то, как она сидела на стуле, чуть прогнувшись и подперев руками поясницу.

Уже в коридоре он услышал, как завуч ответила на вопрос Ольги Саяновны о нем:

– Золотой мальчик – Дима Федоров, отличник, образцовый ученик, гордость школы, на Седьмое ноября в первую очередь в пионеры примем.

Это была правда. Димка понимал: да, он образцовый, да, он – гордость школы. И да – он золотой. Только стихов он больше никогда не писал.

Алешина комната



Комната у Алеши светлая, просторная. Метров тридцать, наверное, а то и все тридцать пять. Да и не комната это когда-то была – настоящий зал, вмещавший еще и две боковые соседские каморки, в начале двадцатых отгороженный от них хлипкой стеной, жадной до звуков чужой жизни. Посередине комнаты, точно по центру, торчит большая колонна, вся разукрашенная углем и мелками Алешиной рукой. Снизу – пухлый танк с красной звездой на боку и длинным дулом; выше – криво нарисованные лошади, тачанки и пуле-

меты. Еще выше – советский самолет-истребитель, идущий на таран с фашистским «мессером». И так до середины колонны – до самой крайней точки, что можно достать, стоя на цыпочках на табурете.

Жили Иванниковы в комнате втроем: мама, Алеша и бабушка Валя. Ремонта вся квартира не знала давно, но обои, еще довоенные, были из какого-то хитрого материала – бумага вперемешку с шелковым волокном, – поэтому никаких вам засаленных пятен и серых лоснящихся проплешин у дверных косяков, все более-менее чисто, свеженько. И рисунок не утомлял глаз: на бежевом фоне разбрызганы ромбики, летающие над крупными вазонами. Такие же вазоны стояли в Юсуповском садике, только на обоях они были целые, без сколов и трещин, Алеша любил гладить их рукой, ощущать под ладонью выпуклость рисунка.

Пол был покрыт глянцевой коричневой краской лишь наполовину – до колченогой пузатой тумбочки. Дальше шли щербатые стертые квадратики старых досок. Когда-то давно его начал красить Алешин дед, тщательно промазывая кистью половицы. Но ровно на середине комнаты остановился, погрозил кому-то кулаком в стену, чертыхнулся артистично и многоярусно да и помер. После бабушка взялась было докрасить пол, развела подсохшую краску в банке вонючим скипидаром, помалевала – вот до той самой тумбочки, но вдруг услышала голос деда: «Ты, старая, давай мне не халтурь! Ить проплешины на полу какие! Сильней кистью-то

води!»

Бабушка минуту соображала, потом завизжала тоненько: «И-и-и-и-и-и! Ирод окаянный, нет от тебя покоя!» Запустила кистью в томную фарфоровую балерину на комод и никому более не велела к полу прикасаться. Так они и жили. Алеша с мамой на блестящей половине, бабушка – на невыкрашенной.

А еще по центру колонна эта торчит, дура дурой! И крючка к ней не прибить, и в хозяйстве никак не пристроить. Да и оттоманку бабушки Вали из-за нее пришлось у двери поставить: когда та стояла у окна, бабушка, бывало, ночью спронежия встрепенется до коммунальной уборной да как шарахнется башкой прямехонько о столб этот никчемный. Даже след остался – облупилась штукатурка от бабушкиного крепкого лба, и ровно так, ладненьким яичком. Алеша-то мелком яичко по контуру обвел, пририсовал, что положено, – вот тебе и советский танк.

А у оттоманки было набитое пружинами брюшко, и, когда Алеша прыгал на ней под самый потолок, она тоненько ворчала возмущенным ржавым скрипом. Это если бабушка не видела, а то убила бы на месте.

И всё в комнате: и колонна, и оттоманка, и большой подоконник, на который так здорово забраться и смотреть, что делается вокруг, и круглый стол под луноликим абажуром – всё было для Алеши любимо до щемящей боли в миндалинах, и ни за что на свете не променял бы он свою комнату

ни на какую другую. Даже на дворец. И если бы его спросили, что такое Родина (с большой, разумеется, буквы), и не у классной доски спросили, а так, шепотом, под честное-пречестное слово, – он бы поклялся, что комната эта и есть его Родина и вся квартира – тоже Родина. Ну и всё, что вокруг, – дом, двор, город, страна, – тоже, конечно, Родина. Но ядро-то Родины – у него в комнате. А центр Вселенной проходит аккурат по середине, как раз там, где колонна торчит. Ведь не случайно же торчит – надо же этот вселенский центр как-то обозначить.

Помимо Алешиной, в квартире зачем-то пригрелись еще три комнаты.

Первую занимал приехавший в Ленинград сразу после войны бакинский армянин. У него было румяное лицо, темные, как мазут, всегда печальные глаза, усы и блестящая лысина в черных с серебром завитках по периметру. У персонального звонка-вертушки на входной коммунальной двери висела начищенная табличка с витиеватыми буквами: «Халафян Арарат Суренович. Звонить пять раз». Вычурно, по старинке. И зачем звонить пять раз, если соседей – четыре фамилии, было непонятно. Но Арарат Суренович тайну эту не раскрывал и на все вопросы давал один ответ: «Пять раз, да? Трудно, да? На четыре не подымусь с дивана, хотите лицезреть, крутите пять!»

Арарат Суренович работал в часовой мастерской на со-

седней улице, именовал себя громко, под стать табличке на двери, «часовых дел мастером» и принимал посетителей иногда на дому, которые неизменно звонили в дверь сколь угодно количество раз, но только не пять, чем невероятно раздражали соседей. А чтобы соседи не фыркали, что ходит к нему всякий сброд или, не дай бог, балуется Арарат Суренович частными заказами, он угощал тех фруктами с родины, каждый раз поясняя: армянские сливы, не азербайджанские, хоть и из Баку. Соседям было абсолютно все равно – сливы в магазинах были мелкие и кислые, так что угощение соседа принимали с неподдельной радостью.

Ходили к Арарату Суреновичу по разным поводам, но чаще – по сугубо личным делам, коих он сам предугадать не мог. У него всегда имелось наготове несколько дежурных отговорок на случай, если кто-нибудь вздумает попросить займы. Например: «Я бы, дорогой, с охотой одолжил тебе, но не далее как вчера занял зятю на „КВН“». Или: «Опоздал, расхороший мой. Сегодня утром всё до копейки в коммиссионке оставил – транзистор приобрел. Нет, не себе, что ты, что ты! Дочке в семью». Но самое популярное было – закатить к потолку глаза, выдержать «мхатовскую» паузу и тихо так, чуть с хрипотцой, молвить: «Нельзя у меня, брат, в долг взять. Мне можно только дать. Не дает никто. Вот ты небось тоже не дашь...» И обязательно вздохнуть заглабинно и зыркнуть из-под кустистых бровей. Собеседник обычно как-то сразу ссутуливался, начинал двигаться позвоночни-

ком к выходу и бормотал что-то извиняющееся, совершенно не желая вникать в подробности нужды Арарата Суреновича. Хозяин же еще раз вздыхал и облегченно закрывал за посетителем дверь. В общем, славный был сосед.

Вторую комнату занимали Зайцевы. Было Зайцевых каждый месяц разное количество: то свекровь нагрянет из Омска, то теща из Углича, то выводок племянников – все на подбор рыжие, с большими лобными костями и брызгами веснушек по лицам, шеям и рукам. А то и «просто земляк» проездом. И земляки эти из разных уголков Советского Союза, от Кушки до бассейна реки Индигирки. И это не считая самих Зайцевых – Василь Кондратьича, работавшего кем-то нужным в институтской химлаборатории неподалеку, и его молодой жены Риты, по совместительству коллеги, поймавшей Василь Кондратьича в брачные сети прямо в лаборатории.

А в третьей комнате проживала Варвара Гурьевна Птах. Было ей, по ее собственному выражению, «как ягодке опять», а на самом деле уже седьмой десяток. До пенсии у нее имелась необычная профессия – таксидермист. Проще и понятней – чучельник. Проработала Варвара Гурьевна без малого тридцать лет в Зоологическом музее на Стрелке Васильевского острова, в крохотной темной мастерской, пахнувшей всеми возможными запахами сразу, но сильнее всего

– кожей, сладковатым бульоном и ядреным клеем. Возможно, такая вот ароматизированная биография наложила свой отпечаток на сознание Варвары Гурьевны, а равно и на сознательность. Чучелок она делала не только из белок и лищиц, но и из встречающихся на ее пути людей. Особенно соседей по дому и округе.

– Поди сюда, Алеша! – обычно начинала Варвара Гурьевна, таинственно озираясь по сторонам и пожевывая губами. – Ты ничего не заметил?

– Не-а, – отзывался Алеша.

– Зайцевы купили пачку яда и спрятали ее на кухне.

– Так ведь мы ж скидывались все на него, вы не помните?

От мух и тараканов.

Варвара Гурьевна доставала из огромного кенгурушного кармана передника брикетик и вертела перед носом Алеша.

– Ты читай-читай!

На брикетике черной типографской краской было отпечатано: «Яд ядовитый „МУХОМОР“. По особому заказу ЛГО ГАПУ» и нарисована большая жирная муха.

Алеша всматривался в нехитрый рисунок и пожимал плечами.

– Глупый ты ребенок, а еще пионер! Потравить нас с тобой хотят. И комнаты наши себе забрать. Особенно твою, потому как внутри колонны радиопередатчик ловит лучше.

– Она же целая внутри, колонна-то! – открывал от удивления рот Алеша.

– Целая? – ехидно вытягивала губы уточкой Варвара Гурьевна. – А ты ее простукивал?

– Конечно!

– Мал еще рассуждать! Ты на яд, на яд посмотри внимательней.

Алеша снова вглядывался в брикетик, нюхал его, трогал пальцем нарисованную муху.

– Как ты не понимаешь! «По особому заказу ЛГО ГАПУ»! Это заговор! Кто такой этот ЛГО ГАПУ? А? Я тебя спрашиваю! Это шифр! Они так передают информацию, разве ж не ясно?

Алеша не спрашивал, кто такие «они». Девять с половиной лет жизни в одной квартире с Варварой Гурьевной научили его понимать все таинственные местоимения. Заговор соседке виделся во всем, даже в том, как сидели матросики на скамейках перед летней эстрадой в Таврическом саду: «От ведь! Парочками сидят. Слева их больше, нежели справа. И бескозырки вон те трое во втором ряду сняли и один в пятом. Это же шифр, глупые вы люди!» Алеша понимал, что шпионы в стране, конечно, водились. Об этом говорили в школе, про это снимали кино. Но о таком количестве, в каком обнаруживала их бдительная Варвара Гурьевна, доблестная советская контрразведка и мечтать не могла.

Алеше через пять месяцев должно было исполниться десять. Был он худенький, белообрый, с соломенным чубчиком, торчащим щеточкой надо лбом, огромными серыми глазами и оттопыренными ушами. Учился он на «четыре» и «пять», ходил в кружок авиамоделирования и любил погонять в футбол. Учителя его хвалили, ставили в пример другим. Образцово-показательный пионер, активист. Бабушке Вале бы радоваться, но больно уж тревожилась она за один, возможно единственный, недостаток внука: он был слишком правильным и безоговорочно верил тому, что говорили взрослые.

«Как же ты жить-выживать будешь, кровинушка? – сокрушалась бабушка. – Поначалу мы с матерью думали, что по малолетству ты такой дурной, а ты уж почти отрок!»

Она вспоминала, что сама в десятилетнем возрасте, оставшись без матери, взяла на себя все хозяйство как старшая женщина в семье. И отцу обед состряпать, и за тремя младшими братьями приглядеть, и в доме прибрать. Да еще корова была и поросята. И всё на ней, десятилетней Валентине. Поплакаться некому было: у отца рука тяжелая. И ничего! И братьев подняла, и хозяйству не дала развалиться! А внук-то прям как парниковый – верит всему! И кабы только хорошие люди попадались ему в жизни, но ведь так не бывает. «Про-

падет он, своего-то ума коли нет!» – печалилась бабушка.

* * *

– Алеша, поди, – поманил скрюченный палец в дверной щели. – Бери перо, и на вот листочек в клеточку. Пиши. Глаза-то мои совсем плохи стали.

Алеша нехотя ступил на территорию Варвары Гурьевны, сел за большой стол. Комната была темной, узкой, часть окна упиралась в стену соседнего дома, почти соприкасаясь карнизом с кривоватой водосточной трубой. Соседка с периодичностью раз в три-четыре месяца заявляла в милицию, что видела шпиона с фотоаппаратом, висевшего на этой трубе и заглядывающего к ней в окно, и на красном знамени в том может поклясться, как на иконе.

– Готов? Пиши. – Варвара Гурьевна подложила под поясницу думочку, а голову с клубком седой кички утомонила на ромбике кружевной салфетки, пришпиленной к высокой диванной спинке.

– *Дорогой Никита Сергеевич!* Восклицательный знак. *Довожу до Вашего сведения...* «Вашего» – с большой буквы... Запятая. ... *Что вчера, пятого ноль четвертого пятьдесят пятого гэ...* После «гэ» точка. *В семнадцать двадцать две около дома номер восемь по Шестой Красноармейской мною был замечен неизвестный мужчина. Точка. На мужчине был коричневый плащ и полосатый шарф...*



– Я не успеваю! – взмолился Алеша. – И перо царапает.
– Двочник! Пиши давай аккуратно, Президиум читать
будет.

Алеша вздохнул. Спорить с Варварой Гурьевной выходило всегда себе дороже, да и мама как-то взяла с него слово, что бабушке-соседке он будет помогать по мелочам. Ведь жалко ее: старенькая, одинокая, родне не нужная. Алеша дал маме честное слово и если бы его нарушил, то случилось бы сразу две катастрофы. Во-первых, его самого загрызла бы совесть, а во-вторых, услышь соседка слово «нет» из уст мальчишки, то это ох как обернулось бы всем соседям! Террорист номер один всего квартала Варвара Гурьевна не дала бы житья никому, выела бы всех без остатка, прощай тогда сливы Арарата Суреновича, родственники Зайцевых и спокойная жизнь Иванниковых.

– Написал?

– Угу.

– Пиши дальше...

А еще сосед мой сверху, Фуфайкин Дмитрий Игоревич, льет воду на кухне по ночам. А чего, спрашивается, льет? Тут вопросительный, Алеша, поставь. С новой строки. У них там ванна чугунная прямо в кухне стоит, за занавеской, он снимки проявляет. А снимки ясно какие: у него же жена Нинка на фабрике «Веретено» в столовой на раздаче работает. Это схемы разные...

Алешин класс однажды водили на экскурсию на фабрику «Веретено», прямо в мотальный цех. Там шумели станки, работницы в халатах и косынках ставили тяжелые бобины на металлические стержни и бегали от одного конца ма-

шины к другому, завязывая узелки постоянно рвущейся нити и меняя использованные початки пряжи на новые. Он с трудом мог представить, что в этом процессе представляет интерес для врага, но с Варварой Гурьевной не спорил. А вдруг? Ведь взрослые не станут врать. Может, и в самом деле, злостным диверсантам для разжигания войны надо обязательно выведать скорость наматывания пряжи с початка на бобину и хитрость при завязывании узелка, какую знали только советские пальцы?

– Написал?

– Угу.

– Ошибки проверь. Так. Подпиши внизу: *С бдительным приветом Птах Вэ. Гэ.* Точку поставь. Промокни. Подуй. Сюда дай.

Она взяла с этажерки очки и, не отгибая дужек от стекол, поводила ими по строчкам.

– Молодец! Возьми ириску из вазочки.

Алеша послушно засунул ириску за щеку.

– Опустит в ящик на почте. Только смотри, чтоб никто не наблюдал за тобой. Походи сначала взад-вперед, покрути незаметно головой. Увидишь слезку, сделай вид, что играешь будто, и беги к другому ящику – тому, который на булочной висит, на Седьмой Красноармейской. Оглянись, подожди немного и только потом опускай конверт. Все понял?

Алеша кивнул.

– Ну ступай.

Бабушка Валя сурово посмотрела на внука.

– Что это ты жуешь перед обедом?

– Варвара Гурьевна ириской угостила.

– С чего бы это нашей душегубице-чучельнице тебя подкармливать? Ведь отродясь за ней гостеприимства не водилось.

Алешу соседка заставила поклясться на пионерском галстуке, что содержание письма он не раскроет никому. Даже бабушке. Потому как это есть великая военная тайна.

– Да я так. Помог ей... нитку в иголку вдеть, – проямлил Алеша.

Врать он категорически не умел, но про иголку с ниткой была чистая правда: заполучив хорошо видящего мальчика, Варвара Гурьевна нагрузила его не только письмо писать, но и пуговицу под кушеткой найти, и мелкий шрифт в газете прочесть, и эту самую нитку вдеть. Так что никакого вранья, и ириску он заработал честно.

– Ить нитку! Видно, нитка та шибко толстой была, раз ириску за нее не пожалела.

Бабушка Валя терпеть не могла соседку. Зайцевы шептались на кухне, что еще до войны, перед тем как в квартиру въехал Арарат Суренович, в его комнате жил фельдшер Горин, импозантный и усатый. Так вот из-за этого фельдшера соседки и невзлюбили друг дружку – каждая норвила отводить кусочек его внимания.

Выбежав на улицу и направившись к почте, Алеша четко следовал соседкиной инструкции: проследить, чтобы не было «хвоста», а если он заметит слежку – немедленно съесть конверт. Алеша шел, посекундно озираясь по сторонам.

– Ты куда? – выскочил откуда ни возьмись одноклассник Митя Смирнов.

– Будь другом, Митька, не ходи за мной!

– Это еще почему?

– Я не могу тебе рассказать – это тайна, – прошептал Алеша.

– Какая тайна?

– Ну до чего же ты непонятливый, Митька! Беги за мячом, я через пять минут буду.

Митька пожал плечами и поскакал прочь. И даже не подумал обидеться: тайна – дело обычное.

Когда синий пузатый ящик проглотил конверт, Алеша вздохнул с облегчением. Сейчас он сделал очень полезное для страны дело. Теперь шпиона поймают, и все будут спать спокойно.

* * *

Алеша мечтал поймать шпиона. Это же так классно: никто не заметил, а он догадался по какой-нибудь маленькой детали, что перед ним не простой прохожий, а враг и в портфеле у него план советского завода. Да хоть и «Веретено»,

мало ли... Хотя про «Веретено» верилось с трудом. И вот он, пионер Алеша Иванников, выслеживает негодяя, а потом сообщает в милицию. И милиция по горячим следам ловит диверсанта – в тот самый миг, когда он передает иностранному агенту важные документы, завернутые для маскировки в газету «Ленинградская правда». А после на торжественной линейке в школе милиционер жмет Алешину руку и вручает ему грамоту. Как бы здорово было!..

А потом утром приходит газета, разворачиваешь – а там портрет и подпись: «Советская страна гордится пионером Алешей Иванниковым!»

– Алеша... – Скрипучая дверь приоткрылась, и показалась голова Варвары Гурьевны. – Поди.

И тут же голова перешла на шепот:

– Что-то у Араратки подозрительный гость. Кепку не снял, прямо в кепке к нему в комнату – шашть! И часы с кукушкой под мышкой держал.

– Да это, наверное, дяденька починить принес Арарату Суреновичу, – попытался успокоить соседку Алеша.

– А кепку чего не снял? Понято дельце: в кепке что-то припрятал. И тишина в комнате, я ухо приложила – гробовая тишина. Видно, шепчутся там. Из кепки-то гость достал – следишь за мыслью? – достал, грю, чего, и читают они. А часы с кукушкой – это ж скворечник целый! Зачем, спроси, не в мастерскую, а на дом принес? А? Тебя спрашиваю!

– Так мастерская закрыта, сегодня же воскресенье. А ему, наверное, срочно надо... – попробовал найти ответ на головоломку Алеша.

– В скворечнике бомба с часовым механизмом, истинно тебе говорю! Вот напросись к Араратке в комнату, найди предлог, он тебя привечает. И ухо прислони к скворечнику – голову на отсечение даю, что тикает!

– Так ведь часы же! Потому и тикают.

– Глупый ты мальчишка, а еще пионер!

Раздался виноватый стук, и в двери блеснула лысина Арарата Суреновича.

– Варварочка Гурьевна, сливочек отведайте, мытые. Из Баку, армянские, первый сорт. Земляк вот зашел...

– Ах, Арарат Суренович, балуете вы меня, старую! Ох, здоровьица вам, сосед, и землякам вашим тоже!

Дверь закрылась. Ириски из вазочки были тут же выдворены прочь, их место заняли фиолетовые продолговатые сливы.

– Вишь, Алеша, подлизывается, паразит! Ладно, пусть думает пока, что мы не догадались.

Варвара Гурьевна откусила одну из слив и поморщилась.

– Кислятина!

Глаза ее метнули молнии, а негодующий кулак поднялся в праведном гневе в сторону двери, где только что торчал мясистый нос Арарата Суреновича: погоди, мол, доберусь как-нибудь до тебя!

– Ты, кстати, точно в ящик-то мое письмо бросил? А то вон сколько времени прошло, а ответа нет.

– Так, наверное, у Президиума много дел, не успели еще...

– «Не успели»! – передразнила соседка. – Бери листок, перо, пиши. Про подозрительные бочки за помойкой.

Перо скрипнуло и посадило кляксу на третьем абзаце. Варвара Гурьевна не заметила этого, вдохновленная диктовкой. Алеша аккуратно накрыл кляксу розовой промокашкой.

– ...И последнее. Мужчина в коричневом плаще и полосатом шарфе околачивался возле нашего подъезда. С пристрастием смотрел на окна верхних этажей... «Пристрастие» пишется через «и». Кажется. Или нет. Ты, Алеша, напиши хитро, чтобы не понять было, «и» или «е». В Президиуме читать будут.

– Правда? Вы снова видели его?

– Кого?

– Шпиона в полосатом шарфе?

– А я про что тебе! Пиши, не отвлекайся.

Алеша покосился в сторону окна. А вдруг «он» снова там?

– Варвара Гурьевна, а зачем ему возле нашего дома шпионить? Мы же не фабрика. И не завод. И ракет не делаем.

– Глупышонок! – фыркнула соседка. – Может, комнату он твою отнять хочет. Следишь за мыслью? Потому что из нее вид на проектное бюро. Антенну в колонну вделают, и...

– Так бюро-то не секретное!

Алеша прекрасно помнил, как однажды с ребятами он даже забегал в это бюро – там работал отец Мити Смирнова. Запомнилась тесная длинная комната, где сидело человек десять, ворох ватманов, квадратные чертежные доски и рейшины – все большое (и инструменты, и люди), манящее тайной и типографскими запахами.

– Они там проектируют упаковку!

– Какую упаковку? – сощурилась Варвара Гурьевна.

– Коробки разные для крупы и для конфет. Нам показывали. Да и пустили нас запросто. В секретное бюро вахтер бы не пустил.

– Вот-вот! Как ты не понимаешь? Это все маскировка. Для отвода глаз. А проектируют они, может быть, ядерные ракеты!

Алеша привык верить взрослым. Но что-то уж больно неправдоподобное было в словах соседки.

– Дописал? Подпиши: *С бдительным приветом Птах Вэ. Гэ.* Промокни. Подуй. Положи в конверт.

Алеша забрался на подоконник и пристально вглядывался в угловое окно низенького флигеля напротив своего дома. Форточка была приоткрыта, за стеклом виднелось что-то большое – вероятно, чертежная доска, освещаемая крохотным огоньком прикрепленной к раме лампы. Не разглядеть!

– Что ты там высматриваешь? – Из-за колонны выглянула

бабушка Валя.

– Бабуль... – задумчиво произнес Алеша. – А ты не видала подозрительного типа возле нашего дома? У него полосатый шарф на шее.

– Не видала. И чем же он для тебя подозрительный?

– Ну вот зачем человек ходит, высматривает все? Может, он диверсию замышляет?

– Кино, что ль, какое с Митькой своим посмотрел? Или... – Бабушка сощурилась. – Или накрутила тебе мозги чучельница, как веревку на катушку? Я видела, как ты от нее вышел. Опять нитку вдевал?

Алеша кивнул, держа за спиной пальцы крестиком.

– Смотри, Алешка, ты всему, что она тебе говорит, не верь. Больной это человек. И червивый внутри.

– Разве человек может быть червивый? – поднял брови Алеша.

– Может. Как раз такой человек, как Гурьевна, чтоб щи у ей скисли! Сколько душ в былые годы пасквилями своими сгубила, не сосчитать! Если она тебе про того прохожего рассказала – забудь, бред это нездоровой ее головы.

– Бабушка, а вдруг он и правда шпион?

– А сам как думаешь?

Впрочем, бабушка Валя наперед знала Алешин ответ.

– А я думаю, – хмурил брови Алеша, – надо быть бдительным. Пусть милиция лишний раз проверит, разберется.

– Ну да, ну да. – Она махнула кухонным полотенцем и

раздраженно плюнула в горшок с бегонией. – Разберутся!

Когда-то так же вот «разобрались» с соседом Гориным. А у того сердце больное было, даже протокол не успел подписать – закрыл глаза, и всё... Разбирайтесь теперь как хотите.

С улицы раздался залиvistый свист, какой мог быть только у Мити Смирнова. Алеша встrepенулся, спрыгнул с подоконника и, по пути погладив колонну по глянцевоmu боку, побежал играть в футбол.

– Нос-то, нос весь в чернилах!

Бабушка Валя покачала вслед ему головой, тяжело вздохнула и поплелась на кухню чистить картошку.

* * *

Сосед Зайцев осторожно постучал в дверь к Арарату Суреновичу.

– Можно?

– Заходи! – Арарат Суренович обрадовался ему, как родному, но тут же напрягся: – Надо ли чего?

– Я вот думаю, что с Гурьевной делать? Участковый остановил меня сегодня и говорит: мол, все понимаю, но сигналец поступил, будто супруга ваша по ночам что-то сжигает втихаря.

– Сжигает?

– Ну да. Мол, архив сжигаем, от компромата избавляемся...

– Архив? А-ха-ха! – загоготал Арарат Суменович. – Смотри-ка, Василь Кондратьич! То-то я чую: гарью из-под вашей двери каждую ночь тянет!

– Смейтесь-смейтесь, Арарат Суменович! Сигналец тот и по вашу душу. Мол, травник вы, ядовитые листья собираете, сушите и отраву из них делаете. И обнаглели, мол, никого не боитесь, на кухне их в банке держите.

– Отраву? В банке? Да это ж виноградные листья, землянки привезли. Для долмы... голубцов по-вашему. А в банке у меня хмели-сунели.

– Вот-вот, сунели... – тяжело вздохнул Зайцев. – Говорю же, у бабулечки нашей совсем крыша отъехала, как грицца, с комсомольским приветом... Не ровён час, посадят нас с вами за ерунду. За голубцы ваши.

– Времена не те... – густо пробасил Арарат Суменович, достал из горки вазочку с засахаренными орешками и поставил перед соседом на стол. – Но решать все-таки надо, Василь Кондратьич. Есть у меня земляк – отличный психиатр...

* * *

«Вот шпионов взять, – думал Алеша. – Откуда ж они берутся в таком количестве? Говорят, что они везде, надо только внимательно смотреть. Этот тип в полосатом шарфе за чем-то ходит возле нашего дома. Навредить хочет стране. А

вдруг и правда в проектном бюро напротив делают секретное оружие, вот и враг тут как тут! Вынюхивает!»

– Ты что, Алеша, сам с собой разговариваешь? Стишок в школу учишь?

Бабушка Валя штопала носок, натянув его на лампочку, низко склонялась близорукими глазами к иголке, подставляла руку в кружок света от абажура.

– Бабуль, я все про шпиона думаю. Того, в шарфе.

Бабушка Валя оторвалась от штопки, долго смотрела на внука.

– Ты сам, что ли, видел его?

– Нет... – замялся Алеша. – Другие видели.

– Если «другие» – это Гурьевна, ты, Алеша, не верь ей. Старая она, из ума выжила. Никакого шпиона нет. Выдумала, окаянная. Чтоб суп у ей скис!

– Но она два раза... – начал было Алеша, но вовремя замолчал. Так недолго и про письма проболтаться.

Бабушка сурово посмотрела на него поверх очков.

– Померещилось, говорю. Ну сам посуди: какой шпион? Получается, наша доблестная милиция баклуши бьет, допускает, чтобы шпионы так вот запросто разгуливали среди бела дня и всяким чучельницам попадались на глаза? Ты хочешь сказать, милиция плохо работает?

– Не-ет, – оторопел Алеша.

– Правильно. Забудь о шпионах. А то так же мозгой тронешься, как Гурьевна. Да и откуда шарф-то ей привиделся?

Май на дворе, теплынь.

Алеша задумался. С одной стороны, это хорошо, если шпион привиделся, – стране спокойней. А с другой – даже жалко, потому что так хочется поймать настоящего диверсанта.

– Ладно. Не думай так напряженно. Вредно. – Бабушка достала матерчатую сумку, кошелек и пересчитала рубли. – Сходи-ка в магазин. Масла сливочного возьми двести грамм, сыра «Степного» тоже двести и сто пятьдесят «Отдельной». Да смотри, чтобы кусочком, без доплаты, пусть продавщица кромсает до точного веса.

Если чучельница Варвара Гурьевна видела в каждом встречном и поперечном шпиона, то бабушка Валя готова была каждую продавщицу записать в воровки. Внуку она строго-настроено наказывала либо просить нарезать сыр-колбасу и тут же пересчитать кусочки, либо требовать обтесать продукт до нужного веса. Потому что уверена была: как только продавщица попросит доплатить за лишние десять – пятнадцать граммов и покупатель пойдет к кассе, то с его сыром-колбасой произойдут неприятные метаморфозы. Проще говоря, отрежет себе вороватая торговка кусок, а то и кусочище, и поди проверь ее. А ты, как болван, получишь свой недовесок уже завернутым в толстый слой бумаги и кукуй себе.

...Алеша встал в хвост длиннющей очереди в гастрономе. Очередь шевелилась, перетапывалась, обсуждала в основ-

ном кто что где купил и почем. Если какая-нибудь женщина, к примеру, хвасталась, что отхватила в магазине за углом говяжьих мостоложки для студня, очередь непременно спрашивала, нажористые ли они. И, получив утвердительный ответ, вздыхала единым организмом.

Алеша не особо вслушивался в журчащую речь очереди, а все думал и думал о шпионе, который хотел украсть секреты проектного бюро, а для этого завладеть его комнатой – его маленькой Родиной (с большой буквы), где живет лучшая на свете колонна. И мысли его были невеселые. Он представлял себя Мальчишем-Кибальчишем – таким, каким тот был нарисован в книжке, – но привязанным не к столбу, а к колонне. И диверсанты пытаются его, непременно пытаются, требуют назвать пароль. А он молчит, гордо подняв голову, и смотрит на врага с ненавистью...

Тут из подсобки принесли ящик сливочного масла, и Алеша оторвался от своих тяжелых мыслей, потому что началось действие, которое он обожал. Да и все в очереди стояли, благоговейно открыв рты, – до того красив был этот ритуал. Продавщица сначала вытаскивала из фанеры и провощенной бумаги огромный куб и большим ножом соскабливала с него желтый налет, высвобождая бледно-лимонное тело. Затем подзывала всегда невзрачную угрюмую помощницу из подсобки, и та держала куб, чтобы он не соскользнул, а продавщица брала кусок стальной проволоки за две прикрученные деревянные ручки, набрасывала на масляного страдаль-

ца и тянула проволоку на себя. Куб сопротивлялся, выдавливая прозрачные капельки влаги, точно скупые слезы, продавщица с криком упиралась ногой в прилавок и так, скособочившись, нарезала масло слоями сантиметров по восемь – десять. Красота, а не зрелище!

Что-то звякнуло совсем рядом. Алеша обернулся и увидел двух теток, охающих над разбитой банкой. Драгоценная развесная сметана растекалась по каменному полу, облагораживая уличную грязь, занесенную сотнями ног покупателей. Появилась старенькая уборщица в мятом сером халате, обозвала всю очередь нехристями безрукими, принялась водить огромной шваброй с тряпкой по полу, загоня жижу куда-то в одно место, неподвластное логическому вычислению.

И тут как-то случайно Алеша повернул голову к огромному, залитому майским солнцем витринному окну и увидел...

Да, это был он! Человек в коричневом плаще и полосатом шарфе! Шпион! А бабушка Валя все талдычила, что померещилось Варваре Гурьевне!

Человек стоял лицом к витрине, разглядывал выстроенные в ряд стеклянные молочные бутылки, куда были вложены трубочкой белые бумажки, притворявшиеся молоком. Несколько раз он посмотрел на наручные часы, потряс рукой, как если бы они были неисправны, недовольно покачал головой и, по всей видимости, спросил время у прохожего. Алеша из-за солнца плохо разглядел черты лица человека в шарфе, но почему-то подумал, что черты эти должны

быть обязательно острые, хищные. А как же иначе? Ведь это шпик!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.